Фрэнсис Ходжсон Бернетт



Глава дома Кумб

Роман о детях тени
и законах высшего света

Фрэнсис Ходжсон Бернетт

Глава дома Кумб

«Автор»
2026

Бернетт Ф.

Глава дома Кумб / Ф. Бернетт — «Автор», 2026

Лондон накануне Первой мировой войны: за фасадами роскошных особняков Мэйфэра, в колыбели ослепительных балов и светских условностей зреет глубокая человеческая драма. Лорд Кумб — непогрешимый, холодный и всемогущий властелин высшего света — держит в своих руках судьбы целого поколения. Но за безупречной маской циника кроется тяжелая тайна и одиночество человека, несущего бремя чужих грехов. В этом же безжалостном мире растет Робин — девочка, брошенная на верхних этажах родительского дома в атмосфере ледяного безразличия. Их неизбежное столкновение с маркизом Кумбом станет началом долгого, трудного пути сквозь туман светской лжи к подлинному прозрению и исцелению. Роман Фрэнсис Ходжсон Бернетт (1922) — признанный шедевр британской прозы XX века. Это тонкая, психологически выверенная история о детских травмах, жестких законах имперской элиты и хрупкости человеческого сердца на пороге великих потрясений.

© Бернетт Ф., 2026
© Автор, 2026

Фрэнсис Ходжсон Бернетт
Глава дома Кумб

Предисловие переводчика



Роман Фрэнсис Ходжсон Бернетт «Глава дома Кумб» (*The Head of the House of Coombe*, 1922) — особое явление в творчестве знаменитой англо-американской писательницы. Знакомая читателям по светлым, проникновенным книгам о детстве («Маленький лорд Фаунтлерой», «Таинственный сад», «Маленькая принцесса»), в этом позднем произведении Бернетт обращается к зрелой, глубокой социально-психологической драме, разворачивающейся на фоне поздней эдвардианской эпохи и накануне Первой мировой войны.

О романе и его атмосфере

В центре повествования — история девочки по имени Робин, растущей в атмосфере эмоционального отчуждения и светской суеты Лондона. Тонко исследуя темы одиночества, детской уязвимости, классовых предрассудков и поисков человеческого тепла, Бернетт выстраивает контраст между поверхностным миром аристократических гостиных и искренними, чистыми порывами детской души.

Главная сложность и прелесть прозы Бернетт этого периода заключаются в её синтаксической и эмоциональной многослойности. Автор сочетает характерную эдвардианскую иронию, психологическую наблюдательность и глубокий лиризм.

Принципы и задачи перевода

Работая над настоящим переводом, мы ставили перед собой ряд принципиальных задач:

Сохранение полноты и структуры оригинала: Перевод выполнен в полном объеме, без купюр, сокращений или адаптаций. Каждая глава сохраняет авторскую разбивку на абзацы и динамику повествования.

Стилистическая аутентичность: Языковая ткань романа бережно перенесена на русский язык с сохранением оригинальной ритмики, лексической насыщенности и атмосферы эпохи начала XX века.

Передача психологического подтекста: Особое внимание уделено диалогам и внутренним монологам героев, где за светской вежливостью или детской простотой скрываются сложные эмоциональные подтексты.

Надеемся, что этот перевод позволит читателю в полной мере ощутить глубину, красоту и незаурядный драматизм одного из самых зрелых романов Фрэнсис Ходжсон Бернетт.

Владимир Давыдов

Главные и второстепенные персонажи



В романе Фрэнсис Ходжсон Бернетт **«Глава дома Кумб»** (*The Head of the House of Coombe*, 1922) действует галерея ярких персонажей, отражающих нравы лондонского высшего света предвоенной эпохи.

Главные персонажи

Лорд Кумб (The Earl of Coombe / Глава дома Кумб)

Описание: Центральный персонаж романа, влиятельный аристократ, которого считают самым элегантным и безупречным мужчиной Лондона. Обладает острым умом, проницательным взглядом и огромным влиянием в свете. Общественная молва приписывает ему демони-

ческую репутацию и невероятную черствость, однако за этим скрывается сложный характер, сочетающий цинизм, скрытое благородство и способность прийти на помощь в критической ситуации. Он берет на себя покровительство над овдовевшей Фитер и её дочерью.

Амабель Гарет-Лоусс по прозвищу «Фитер» (Amabel «Feather» Gareth-Lawless)

Описание: Молодая, ослепительно красивая, но крайне легкомысленная, поверхностная и эгоистичная женщина. До замужества была бедной девушкой с острова Джерси (урожденная Даррел). Она абсолютно не приспособлена к реальной жизни и заботе о ком-либо другом, кроме себя. После внезапной смерти мужа оказывается на грани полного разорения и выселения, но благодаря вмешательству лорда Кумба сохраняет своё положение в свете.

Робин (Robin / Роберта Гарет-Лоусс)

Описание: Дочь Фитер и Роберта. В начале романа — заброшенный и одинокий ребенок, запертый на верхнем этаже («в детской») и страдающий от отсутствия материнской ласки. Позже она вырастает в удивительно чистую, наблюдательную и прекрасную девочку, чья судьба тесно переплетается с тайным покровительством лорда Кумба.

Донал Мьюир (Donal Muir)

Описание: Сын миссис Мьюир, мальчик необыкновенной физической и душевной красоты. С самого детства между ним и Робин возникает глубокая, чистая детская привязанность, проходящая красной нитью через весь роман (их история получает продолжение в сиквеле — романе *«Робин»*).

Хелен Мьюир (Mrs. Helen Muir)

Описание: Мать Донала. Умная, гордая и независимая шотландка с высокими моральными устоями и глубоким философским взглядом на жизнь. Она стремится оградить сына от тлетворного влияния высшего света и не одобряет связи своего рода с лордом Кумбом.

Второстепенные персонажи
Роберт Гарет-Лоусс (Robert Gareth-Lawless)

Описание: Муж Фитер, красивый, безответственный транжира и мот, накопивший огромные долги и внезапно скончавшийся в начале книги, оставив семью без средств к существованию.

Эндрюс (Andrews)

Описание: Няня Робин. Женщина суровая, черствая и прагматичная, которая выполняет свои обязанности формально и предпочитает проводить время за чтением или общением с другими слугами, оставляя ребенка в одиночестве.

Миссис Блейн (Mrs. Blayne) и Дженнингс (Jennings)

Описание: Кухарка и лакей в доме Фитер. Представители домашньої прислуги, которые ведут циничные и откровенные разговоры о нравах своих хозяев и царящем вокруг лицемерии.

Генри (Henry)

Описание: Ближайший родственник и предполагаемый наследник лорда Кумба (*heir presumptive*). Физически и морально отталкивающий персонаж, чье распутное поведение и постоянные скандалы вызывают презрение в обществе.

Алиса и Олив (Alice & Olive)

Описание: Сестры Фитер, оставшиеся на острове Джерси и вышедшие замуж за друзей владельца яхты, прибывшего на остров.

Доктор Даррел (Dr. Darrel)

Описание: Отец Фитер, бедный сельский врач с острова Джерси, безуспешно пытавшийся пристроить своих многочисленных дочерей.

Эдвард (Edward)

Описание: Смазливый и проворный молодой лакей, который вовремя раскусил плачевное финансовое положение семьи Гарет-Лоусс и одним из первых демонстративно уволился вместе с остальной прислугой перед лицом неминуемого краха.

География



География романа Фрэнсис Ходжсон Бернетт **«Глава дома Кумб»** (*The Head of the House of Coombe*, 1922) играет важную роль в создании атмосферы, раскрытии социального контекста и формировании характеров персонажей. Действие романа разворачивается на фоне нескольких контрастных локаций: от тесных и лицемерием пропитанных лондонских улиц до величественных шотландских поместий и континентальной Европы.

Ниже подробно представлена география романа и значение ключевых мест:

1. Лондон (Англия) — Основная сцена событий

Большая часть романа разворачивается в Лондоне поздней эдвардианской эпохи. Город показан через четкое социальное и пространственное расслоение:

Майфэр (Mayfair) и узкий особняк на фешенебельной улице:

Крошечный, узкий домик, в котором живет Амабель «Фитер» Гарет-Лоусс с дочерью Робин. Он зажат между двумя величественными зданиями (особняком южноафриканского миллионера и домом титулованной особы), что символизирует фальшивое положение Фитер: стремление быть часть высшего света при полном отсутствии средств.

Детская (The Nursery) на верхнем этаже: Изолированный, унылый и серый мир маленькой Робин, из окна которого она годами наблюдает за проезжающими экипажами и прохожими.

Особняк лорда Кумба (Coombe House в Лондоне):

Роскошный, безупречно обустроенный дом лорда Кумба в центре столицы, отражающий его высокий статус, богатство и холодный, утонченный вкус.

Лондонские скверы и парки (Square Gardens):

Замкнутый зеленый сквер, доступный только жителям близлежащих фешенебельных домов. Именное здесь, за кустами сирени и снежноягодника, происходит судьбоносное детское знакомство Робин и Донала Мьюира. Парк выступает в роли своего рода «Эдемского сада» — оазиса чистоты, искренности и первой детской дружбы среди серого и равнодушного города.

2. Шотландия — Символ свободы, традиции и духовной чистоты

Шотландские локации противопоставлены лондонскому светскому лицемерному миру:

Поместье Бремарни (Braemarnie):

Родовое имение Хелен Мьюир и ее сына Донала. Это край холмов, вересковых пустошей (*moors*), чистого воздуха и дикой природы. Бремарни символизирует физическое здоровье, благородство, неиспорченность и верность традициям. В отличие от душных лондонских гостиных, здесь ребенок растет в гармонии с природой и высокими моральными устоями.

Замки и владения дома Кумб в Шотландии (Coombe Court и Coombe Keep):

Огромные величественные замки лорда Кумба. Они подчеркивают невероятный масштаб его богатства и наследия, на которое в перспективе может претендовать молодой Донал.

3. Остров Джерси (Нормандские острова) — Истоки и провинциальная безысходность

Сельская местность Джерси:

Родина Амабель («Фитер») и ее сестер. Живописные сельские тропинки с колокольчиками, море и прибрежные пейзажи.

Для семейства доктора Даррела Джерси — это место провинциальной бедности, откуда красивым дочерям нужно вырваться любой ценой (путем удачного замужества), чтобы не «дешеветь» на брачном рынке.

4. Континентальная Европа — Светский побег и заграничные поездки

Курорты и европейские столицы (Париж, курорты Франции и др.):

Европа упоминается как пространство светских визитов, отдыха, развлечений и зарубежных путешествий высшего общества. Взаимодействие героев с континентом подчеркивает их мобильность и финансовые возможности, а также предвещает надвигающиеся общеевропейские перемены предвоенного времени.

Географический контраст в романе

География романа Бернетт строится на оппозициях:

Замкнутое/Открытое: Замкнутая, тесная детская в Лондоне против бескрайних просторов шотландского Бремарни.

Искусственное/Естественное: Фальшивый, глянцевый Лондон Фитер против естественной, чистой природы Шотландии.

Провинциальное/Столичное: Простая и бедная жизнь на острове Джерси как стартовая точка для восхождения Фитер в лондонском свете.

Атмосфера



Атмосфера романа — это тонкое, многослойное и глубокое погружение в закатную эпоху британского общества накануне Первой мировой войны. Писательница, известная своими светлыми детскими произведениями, здесь предстает мастером зрелой психологической прозы, создавая неповторимый эмоциональный тон.

Ниже выделены ключевые элементы, формирующие атмосферу этого произведения:

1. Эдвардианская элегантность и блеск «позолоченного века»

Роман пропитан эстетикой роскоши, безупречного вкуса и светского лоска поздней эдвардианской Англии.

Описания лондонских особняков в фешенебельном Майфэре, изысканных нарядов от мадам Элен, цветочных композиций в окнах, блестящих экипажей и элегантных светских гостиных создают ощущение внешней красоты, статусности и благополучия.

Фигура лорда Кумба — «апофеоза изысканной безупречности» — задает стандарты высшего света, где форма, манеры, жесткий кодекс приличий и внешняя безупречность имеют первостепенное значение.

2. Ощущение хрупкости и «края пропасти»

За внешним блеском высшего общества неотступно следует тревожное предчувствие надвигающейся катастрофы.

Действие происходит в годы, предшествующие Первой мировой войне, и в тексте ощущается скрытое напряжение: мир меняется, старый уклад трещит по швам, а привычная уверенность героев в незыблемости их положения оказывается иллюзорной.

На микроуровне эта хрупкость отражена в жизни Фитер: её роскошный дом и светский успех держатся буквально на волоске, на грани долгового краха и внезапного падения в нищету.

3. Одиночество и контраст детской изоляции

Особое эмоциональное пространство романа связано с миром детей, противопоставленным шумному и равнодушному миру взрослых.

Детская на верхнем этаже («убогая и неприглядная комната») маленькой Робин наполнена атмосферной тоской, глухой тишиной и тягостным одиночеством.

Чувство заброшенности контрастирует с яркими вспышками радости, когда девочка наблюдает за воробьями на крышах или впервые сталкивается с теплом человеческого общения в лондонском сквере. Это создает щемящую лирическую интонацию, характерную для лучших произведений Бернетт.

4. Социальная ирония и скрытый цинизм

Писательница мастерски передает нравы лондонского света, где царит атмосфера взаимного лицемерия.

Разговоры прислуги в цокольном этаже («внизу») и светские беседы в гостиных («наверху») обнажают прагматизм эпохи: здесь никто никому по-настоящему не нужен, долги маскируются остроумием, а трагедии преодолеваются ради сохранения репутации.

Легкая, почти невесомая ирония автора смягчает драму, обнажая всю поверхностность обитателей модных кварталов.

5. Исцеляющая сила природы и чистоты

Противовесом душному лондонскому свету выступает шотландская природа (поместье Бремарни) и пространство зеленого сквера.

Описания вересковых пустошей, холмов, чистого воздуха, цветущей сирени и весенних гиацинтов привносят в роман дыхание жизни, искренности и надежды. На лоне природы оживают чистые чувства, контрастирующие с искусственностью городского быта.

Проработка характеров



Проработка характеров в романе Фрэнсис Ходжсон Бернетт **«Глава дома Кумб»** (*The Head of the House of Coombe*, 1922) отличается глубоким психологизмом, тонким анализом социальных масок и вниманием к тому, как внешняя среда и детские травмы формируют внутренний мир человека. Бернетт мастерски показывает, что за фасадом светского блеска или, напротив, внешней неприступности скрываются сложные, надломленные или жаждущие тепла натуры.

Ниже представлен подробный разбор проработки характеров ключевых персонажей романа:

1. Лорд Кумб (The Earl of Coombe) — *Эволюция от цинизма к скрытому искуплению*

Психологический портрет: Лорд Кумб — квинтэссенция эдвардианского аристократа: безупречный, холодный, изысканный и неприступный. Общество приписывает ему цинизм и безразличие, а его авторитет абсолютен.

Глубинная мотивация: За внешней холодностью и отстраненностью скрывается человек с тяжелым жизненным опытом, прекрасно осознающий все пороки и лицемерие своего круга. Его цинизм — это защитная броня.

Развитие характера: Кумб вовсе не является плоским злодеем. Его неожиданная забота об овдовевшей Фитер и молчаливое покровительство маленькой Робин показывают сложность его натуры. Он способен на благородство, но совершает его скрытно, не требуя благодарности и сохраняя маску полнейшего равнодушия. Бернетт наделяет его проницательностью почти демонического толка, которая на деле оказывается зрелой мудростью одинокого человека.

2. Амабель «Фитер» Гарет-Лоусс (Amabel «Feather» Gareth-Lawless) — *Трагедия пустой красоты*

Психологический портрет: Фитер — воплощение поверхностности, легкомыслия и тщеславия. Для нее внешний вид, светские сплетни, дорогие платья и одобрение толпы заме-

няют любые внутренние ориентиры. Она символизирует тип женщины, созданной исключительно для украшения пространства («птичка перо» — *Feather*).

Глубинная мотивация: Ее поведение уходит корнями в нищую и унылую юность на острове Джерси, где она была одной из многих бедных дочерей провинциального врача. Страх перед бедностью, неустроенностью и потерей социального статуса заставляет ее цепляться за «правильную сторону улицы» любой ценой.

Развитие характера: Бернетт рисует этот образ без излишней злости, скорее с легкой социальной иронией, но в то же время трагично. Фитер неспособна на глубокие чувства (даже к собственной дочери), потому что природа обделила ее эмоциональным интеллектом. Ее душа остается пустой даже тогда, когда благодаря Кумбу ее материальные проблемы решаются.

3. Маленькая Робин (Robin) — *Стойкость и чистота в условиях забвения*

Психологический портрет: Робин в начале романа — классический «заброшенный ребенок», растущий в спартанских и холодных условиях на верхнем этаже («в детской»). При этом она наделена от природы удивительной наблюдательностью, глубокой эмоциональной чувствительностью и врожденным стоицизмом.

Глубинная мотивация: Поскольку её базовые потребности в любви и внимании со стороны матери полностью игнорируются, девочка учится находить утешение в малом — в наблюдении за воробьями за окном или в тихих фантазиях.

Развитие характера: Характер Робин раскрывается через контраст: несмотря на изоляцию и дефицит ласки, она не озлобляется. Ее встреча с Доналом в сквере становится катализатором пробуждения ее души. В ней закладывается та самая внутренняя сила и способность искренне любить, которые делают её полной противоположностью ее матери.

4. Донал Мьюир (Donal Muir) — *Воплощение радости жизни и естественной гармонии*

Психологический портрет: Донал — полная противоположность лондонским детям из высшего света. Он рос в окружении шотландской природы, в атмосфере безусловной материнской любви и духовной свободы. Он красив, физически совершенен, открыт и полон жизнелюбия.

Глубинная мотивация: Донал движим естественным детским любопытством, чистотой и стремлением делиться радостью. У него нет комплексов или страхов, свойственных детям из неблагополучных или лицемерных семей.

Развитие характера: Его образ служит олицетворением авторской идеи о «человеческой гармонии» и правильном развитии личности, не искаженном светскими предрассудками. Его привязанность к Робин чиста и инстинктивна; он выступает для нее первым проводником в настоящий, теплый мир.

5. Хелен Мьюир (Mrs. Helen Muir) — *Интеллектуальная независимость и материнская мудрость*

Психологический портрет: Мать Донала — гордая, умная и глубокая женщина с передовыми для своего времени философскими взглядами. Она сочетает в себе шотландскую строгость традиций и открытость к новым идеям о развитии человека и природы.

Глубинная мотивация: Защита своего сына от тлетворного влияния большого света и сохранение его душевной и физической целостности. Она осознает всю токсичность аристократической системы (через ассоциации с родом Кумбов) и сознательно держится в стороне.

Развитие характера: Через образ миссис Мьюир Бернетт выражает собственные философские мысли о воспитании и гармонии. Ее сцена знакомства с маленькой Робин и ее матерью (Фитер) ярко обнажает конфликт между истинной заботой о ребенке и поверхностным светским материнством.

Основные психологические темы и приемы Бернетт:

Природа против воспитания / среды: Писательница исследует, как чистая детская душа (Робин) может расцвести даже в условиях эмоционального вакуума, если на ее пути встречаются искренность и любовь (Донал и миссис Мьюир).

Контраст внешнего и внутреннего: Практически каждый персонаж романа носит маску. Лорд Кумб прячет благородство за цинизмом; Фитер прячет внутреннюю пустоту за сияющей улыбкой и модными нарядами; прислуга внизу цинично обсуждает хозяев, скрывая собственную уязвимость.

Детская психология: Бернетт невероятно тонко чувствует внутренний мир ребенка. Страхи Робин, ее умение подавлять боль (чтобы не навлечь гнев няни Эндрюс) и ее мгновенное исцеление от душевного тепла описаны с непревзойденным психологическим мастерством.

Язык персонажей и природы

Язык, стиль и изображение природы в романе Фрэнсис Ходжсон Бернетт **«Глава дома Кумб»** (*The Head of the House of Coombe*, 1922) играют ключевую роль в создании атмосферы эдвардианской эпохи и раскрытии внутреннего мира персонажей. Писательница мастерски использует словесные контрасты, подчеркивая пропасть между искусственным, фальшивым миром лондонского высшего света и живительной силой природы.



I. Язык и речевые характеристики персонажей

Речь героев в романе служит не только средством общения, но и социальным маркером, отражающим их статус, уровень лицемерия или, напротив, внутреннюю чистоту.

Светский язык и эдвардианская ирония (Лорд Кумб и Фитер):

Речь **лорда Кумба** точна, сдержанна, лишена лишних эмоций и пропитана тонким, проницательным сарказмом. Его реплики звучат как афоризмы человека, который видит людей насквозь и устал от светских условностей.

Речь **Фитер** и ее окружения легкая, порхающая, полная светских штампов, легкомысленных восклицаний и остроумных шпилек. Ее язык отражает «диафанную» (почти невесомую и пустую) натуру: в нем нет глубоких мыслей, зато много внимания уделено внешнему блеску, нарядам и сиюминутным развлечениям.

Язык прислуги (Нижний мир особняка):

Разговоры кухарки миссис Блейн, лакея Дженнингса и няньки Эндрюс резко контрастируют с беседовали в гостиных. Их язык более приземленный, циничный, полный житейской прагматичности и едких комментариев по поводу нравов хозяев. Именно через их реплики автор обнажает изнанку светского фасада («все дозволения и сломанные заповеди» эпохи).

Детский язык и молчание (Робин и Донал):

Речь маленькой **Робин** долгое время зажата в тиски страха и одиночества («быть хорошей» для нее означало молчать и не привлекать к себе внимания). Ее внутренний язык — это язык образов, наблюдения за воробьями и трепетного удивления.

Речь **Донала**, напротив, свободна, радостна и открыта. Его диалоги с Робин полны детской непосредственности, искреннего восторга перед жизнью и простоты, контрастирующей с напыщенным языком взрослых.

II. Образ и роль природы в романе

Природа в «Главе дома Кумб» не просто фон для событий, а самостоятельный художественный элемент, несущий глубокий философский и эмоциональный заряд. Бернетт противопоставляет два природных полюса:

Лондонские скверы и парки (Природа в тисках цивилизации):

Замкнутый зеленый сквер посреди фешенебельного лондонского квадрата выступает в роли своеобразного «оазиса» или «Эдемского сада» среди каменных джунглей.

Здесь, под сенью цветущей сирени, снежноягодника и старых деревьев, чьи листья присыпаны лондонской сажей и пылью, происходит чудо — первая встреча и пробуждение душ Робин и Донала. Даже сквозь городскую копоть природа дарит детям ароматы и свет, спасая их от удушливой атмосферы холодных детских.

Шотландские вересковые пустоши и холмы (Подлинная стихия свободы):

Шотландские владения (Бремарни) олицетворяют здоровье, силу, первозданную красоту и духовную свободу.

Образы диких вересковых пустошей (*moors*), холмов, где обитают олени, чистого воздуха и стремительных горных рек зеркально отражают характер Донала Мьюира — его физическое совершенство, жизнелюбие и независимость. Шотландская природа у Бернетт — это среда, где человек формируется сильным, гармоничным и неиспорченным лицемерной светской моралью.

Главная антитеза романа

Через язык и природу Бернетт выстраивает центральный конфликт произведения: **искусственному, душному и фальшивому миру лондонских гостиных противостоит живой, естественный язык чувств и исцеляющая сила природы**, способная вернуть надломленным или забытым детям (таким как Робин) радость бытия и веру в человека.

Детали быта



В романе Фрэнсис Ходжсон Бернетт **«Глава дома Кумб»** (*The Head of the House of Coombe*, 1922) детали быта играют важнейшую роль. Они не просто создают достоверный исторический фон поздней эдвардианской эпохи перед Первой мировой войной, но и служат ярким социальным маркером, обнажая пропасть между роскошным фасадом высшего света и нищетой за фасадом, а также между миром взрослых и одиноким существованием детей.

Ниже подробно рассмотрены ключевые детали быта, описанные в романе:

1. Быт лондонского высшего света (Майфэр и светские особняки)

«Узкий домик» (Slice of a House): Быт Фитер разворачивается в крошечном, узком особняке на фешенебельной улице Майфэр, который описывается как «кричащая маленькая конура», зажатая между двумя величественными зданиями (домом южноафриканского миллионера и особняком титулованной особы). Этот быт держится исключительно на видимости статуса и астрономической квартплате, выплачиваемой с огромным трудом.

Светские атрибуты и эстетика: В быт высшего общества органично вплетены дорогие детали: изысканные туалеты мадам Элен, шляпки и наряды самой Фитер (например, платья из черного шифона и дорогие ткани), оформление оконных ящиков живыми цветами силами флориста, а также крошечные элегантные экипажи (*brougham*), к которым подают лакеев в ливреях.

Чаепития и светские визиты: Чашка чая в изысканной гостиной, вышивание на кусочках шелка или марли, легкие закуски и светские беседы за чашкой чая составляют основу повседневного досуга взрослых персонажей.

2. Изоляция и спартанский быт детской (The Nursery)

Верхний этаж (*The Day Nursery* и *The Night Nursery*): Быт маленькой Робин разительно отличается от того, что происходит внизу. Ее мир — это две убогие, серые и неприглядные комнаты на самом верхнем этаже, куда годами проникает лишь лондонская копоть и туман.

Аскетизм и отсутствие игрушек: В детской Робин нет ни игрушек, ни книг. Ее быт сведен к строгому механическому уходу: вовремя поесть (включая пресловутое сгущенное молоко), одеться в аккуратное, но казенное платьице и ждать няню.

Воспитание через страх и молчание: Быт под руководством няни Эндрюс построен на жесткой дисциплине, где главным правилом для ребенка является «не шуметь» и не привлекать к себе внимания, чтобы не тревожить взрослых. Телесное наказание (щипки) используется как бытовой метод подавления детского плача.

3. Быт прислуги («Внизу», или Цокольный этаж)

Кухня и служебные помещения: Значительная часть закулисной жизни дома проходит в цокольном этаже и на кухне, где правят кухарка (миссис Блейн), лакей (Дженнингс) и горничная (Джейн).

Бытовые привычки прислуги: Их повседневность завязана на обсуждении хозяев за приготовлением еды (например, запеканием булочек в духовке), чтении романов (*«Секрет леди Одели»*), а также на обсуждении жалования, чаевых и строгой экономии или, наоборот, расточительности хозяев. Быт прислуги подчеркивает прагматичный и циничный дух эпохи, где каждый преследует свою выгоду.

4. Шотландский быт и аристократические традиции

Поместье Бремарни (Braemarnie): Быт в шотландском имении Хелен Мьюир и ее сына Донала кардинально отличается от лондонской суеты. Он тесно связан с природой, активным движением на свежем воздухе, прогулками по вересковым пустошам (*moors*), общением с мест-

ными жителями и традиционным укладом старинного шотландского дома. Здесь царит атмосфера простора, здоровья, физической активности (катание на шетландских пони, шотландские килты и береты с орлиным пером).

5. Провинциальный быт острова Джерси

Жизнь семьи сельского врача: Прошлое Фитер на острове Джерси прописано через детали стесненного провинциального быта: нехватка денег в семье сельского доктора, старый дом, где воспитывалось множество детей, необходимость рано «выставлять девушек на рынок» ради удачного замужества, поскольку их содержание в тягость семье.

6. Финансовый быт и долговая культура эдвардианской эпохи

Культура долгов и маскировки: Особенностью быта обедневшей аристократии и «светских паразитов» в романе является постоянное лавирование между кредиторами. Жизнь в долг, уговоры лавочников, сокрытие неоплаченных счетов, игра в «благополучие» при пустых карманах и страх перед внезапным визитом судебных приставов или агентов по аренде — реалии, из которых складывается изнанка блестящей лондонской жизни Фитер.

Глава I

История событий, о которых пойдёт речь, началась много лет назад — по крайней мере, теперь так кажется. Во всяком случае, началась она за много лет до того, как мир, содрогаясь и раскачиваясь, стал в коротких промежутках между потрясениями обнаруживать поразительные возможности нового расположения частиц своего калейдоскопа, чтобы тотчас же перемешать их снова, и снова, и ещё раз, пока вера в неизменность какого бы то ни было порядка не исчезла, а обитатели земли не замерли в беспомощном ожидании, глядя на меняющиеся звёзды и краски в состоянии полного душевного смятения.

Первые события этой истории относятся к поре, когда у людей ещё были основания верить в постоянство вещей. Многие из них — кто по простодушию, кто по врождённой глупости — прониклись необычайной уверенностью в значительности и прочности своего имущества, желаний, честолюбивых замыслов и убеждений.

Лондон в те времена, подобно другим великим столицам, считал себя чем-то окончательно сложившимся, хотя и гордился тем, что стал гораздо подвижнее и восприимчивее к переменам, чем полвека назад. Говоря о себе, он по крайней мере опирался на устойчивые обычаи, обстоятельства и связанные с ними общепризнанные факты, порождавшие остроумные — или вовсе не остроумные — шутки.

Одна из часто повторявшихся шуток гласила, что в Лондоне можно жить хоть под зонтиком — лишь бы зонтик стоял в надлежащем квартале и на надлежащей стороне улицы. Именно этим правилом объяснялось, почему некая девочка в течение первых шести лет жизни проводила иные дни у окна маленькой, унылой комнаты на верхнем этаже узкого, словно отрезанного от соседних домов жилища на тесной, но чрезвычайно модной лондонской улице. Она смотрела, как в тусклой дневной серости проезжают автомобили и экипажи, проходят люди.

Комнату возвысили над её истинным положением, назвав «Дневной детской», а другое, столь же мрачное и неприветливое помещение именовалось «Ночной детской». Узкую часть дома занимала хорошенькая миссис Гарет-Лоулесс, с явной неохотой выплачивавшая непомерную аренду — по-видимому, не без помощи тех самых «воронов», которые, как принято надеяться, приносят пропитание истинно достойным. Непомерной плата казалась лишь тому, кто трезво сопоставлял её с самим домом: пёстрой, претенциозной конуркой, втиснутой между двумя сравнительно величественными особняками. С одной стороны жил баснословно богатый южноафриканский миллионер, с другой — особа с баснословно высоким титулом; вместе эти обстоятельства вполне оправдывали баснословную арендную плату.

Надо сказать, миссис Гарет-Лоулесс принадлежала к породе людей, которым необходимо жить на правильной стороне улицы, иначе они обратятся в ничто, — тем более что природа, казалось, с самого начала создала её настолько близкой к ничтожеству, насколько вообще может быть близко к нему существо из плоти и крови. Столь воздушным и невесомым было её стройное белокурое обличье и столь неуловимо прозрачными представлялись человеческому восприятию её ум и характер, что друзья — и враги, каких могла иметь столь незначительная особа, — ласково прозвали её «Пёрышком». Её настоящее имя, Амабель, и вполовину не было так очаровательно и причудливо уместно. Она обожала прозвище «Пёрышко», а поскольку в удивительном, хотя и забавном кругу её знакомых было принято давать друг другу фантастические прозвища по названиям птиц, зверей, рыб и даже неодушевлённых предметов, она и порхала по своей странной жизни под именем «Пёрышко». Так случилось, что именно она была матерью девочки, которая часто глядела из окна мрачной, неуютной Дневной детской. Девочка была ещё слишком мала, чтобы ясно осознать смутное, беспорядочное чувство, временами бушевавшее в ней, от которого маленькое тело становилось горячим и беспокойным. Но в основе этого чувства лежало нечто очень похожее на настоящую ненависть к одному человеку, который, несомненно, ничего намеренно не сделал, чтобы заслужить её отвращение.

Когда она вышла замуж за Роберта Гарета-Лоулесса, красивого молодого человека, дурного скорее по безответственности, чем по сознательному выбору, никто ещё не называл её восхитительным именем «Пёрышко». Тогда она была Амабель Даррел, самой прелестной девушкой в прелестном уголке острова Джерси. Её отец, сельский врач, произвёл на свет многочисленное семейство очаровательных созданий и растил их на удручающе скудные доходы своей совершенно неудачной практики. Хорошеньких дочерей следует пристраивать пораньше, пока их рыночная стоимость не упала. Поэтому появление молодого человека хорошего происхождения, пусть и без заметных средств, подобно парусу на горизонте: его естественно приветствуют в надежде, что судно, которому он принадлежит, сможет увезти хотя бы часть груза, который измученная спина с радостью переложила бы на чужие плечи. Отец шести прелестных дочерей ещё может считать их капиталом, если у него есть деньги, положение, щедрая родня либо энергия и неистощимый изобретательный ум. Но усталому человеку, не слишком умному и ничем не выдающемуся, который вырастил своё потомство на одном из Нормандских островов и во всех затруднениях мог рассчитывать лишь на поблёкшую, глуповатую, непривлекательную жену, разумнее предоставить безнадёжное положение случаю и удаче. Иногда удача приходит сама, но почти всегда — нет.

«Пёрышко», бывшая тогда ещё Амабель, сочла Роберта Гарета-Лоулесса невероятной удачей. Он совершенно случайно появился в её летней жизни: яхта его приятеля, на которой он путешествовал, зашла в гавань пополнить припасы. Девушка, похожая на Ариэль, в тонком белом платье, с большими васильковыми глазами, устремлёнными на вас из-под трепещущих полей шляпы, едва ли станет возражать против того, чтобы самой показать дорогу, о которой вы её спросили. И вот уже положено превосходное начало знакомству.

В ночь после встречи с Гаретом-Лоулессом на дорожке, по краям которой густо росли колокольчики, Амабель и её сестра Алиса тесно прижались друг к другу в постели и, едва переводя дыхание, шёпотом обсуждали возможности, которые — если будет на то Божья воля — могло открыть дальнейшее знакомство с мистером Гаретом-Лоулессом. Обе были возбуждены и тревожно нетерпеливы, но они были молоды — молоды даже в своём нетерпении, — и Амабель не могла нарадоваться его красоте.

— Он такой красивый, Алиса, — шептала она, обнимая сестру не от нежности, а от восторга. — Ему никак не больше двадцати шести или двадцати семи. И я уверена, что понравилась ему. Ты ведь знаешь, как мужчины иногда смотрят на тебя? Это заметно даже здесь, где встречаются одни младшие священники да всякие такие люди. У него карие глаза — словно тёмная, сверкающая вода в глубоких заводях. Ах, Алиса, если бы он только…

Алиса, пожалуй, не разделяла восторга сестры. Амабель увидела молодого человека первой, а в доме Даррелов существовало нечто вроде неписаного, далеко не всегда соблюдавшегося правила, непрочно основанного на поговорке «Кто первый пришёл, того и очередь». В самом начале знакомства ещё можно было как бы сказать остальным: «Руки прочь!» Но ненадолго.

— Неважно, насколько они хорошенькие: мужчины редко делают предложение, — проворчала Алиса. — И у него, может быть, ни гроша за душой.

— Алиса, — почти мучительно прошептала Амабель, — мне было бы совершенно всё равно, есть ли у него хоть грош, — лишь бы он сделал предложение! Разве у меня есть хоть грош? Или у тебя? Или хоть у кого-нибудь, кто сюда приезжает? Он живёт в Лондоне. Он увёз бы меня отсюда. Жить даже на задворках Лондона было бы раем! И нужно уехать как можно скорее. Непременно! И ах! — Она снова обняла сестру, но на этот раз объятие сопровождалось дрожью. — Подумай, на что пришлось пойти Дорис Хармер! Вспомни его толстую красную старую шею, его ужасную тучность! И как он дышал носом! Дорис говорила, что поначалу ей становилось дурно от одного взгляда на него.

— Она привыкла, — шепнула Алиса. — Теперь сама почти такая же толстая. Зато вся увешана жемчугом и прочими драгоценностями.

— А мне не пришлось бы ни к чему привыкать, — сказала Амабель, — если бы этот сделал предложение. Я могла бы влюбиться в него за одну минуту.

— Ты слышала, что сказал папа? — Алиса произнесла эти слова медленно и неохотно. Ей совсем не хотелось сообщать подробность, которая ещё ярче освещала и без того раздражающе блестящие перспективы сестры. И всё же она не смогла устоять перед возбуждением. — Нет, не слышала. Тебя тогда не было в комнате.

— О чём? О нём? Надеюсь, ничего ужасного? Да и что ужасного может быть?

— Он сказал, — протянула Алиса с оттенком девичьего злорадного равнодушия, — что, если он принадлежит к бедной ветви Гаретов-Лоулессов, у него почти нет надежды унаследовать титул. Его дяде, лорду Лодору, всего сорок пять, и у него четверо великолепных здоровых сыновей — настоящие маленькие великаны.

— Ах, я и не знала, что в семье есть титул! Как чудесно! — восторженно воскликнула Амабель. Затем, предавшись на несколько мгновений невинным девичьим размышлениям, она с нежной надеждой прошептала из-под простыни: — Дети ведь так часто болеют скарлатиной или дифтерией. И, знаешь, говорят, что самые крепкие умирают от них чаще слабеньких. Викарий из Шина потерял четверых за одну неделю. А потом умер и сам. Доктор сказал, что дифтерия его не убила бы, если бы не потрясение.

Алиса, у которой ума было на чайную ложечку больше, чем у сестры, разразилась таким хихиканьем, что ей пришлось заткнуть рот простынёй.

— Ах, Амабель! — булькала она сквозь смех. — Какая же ты ослица! Ты способна ляпнуть такое даже при посторонних. Представь, если бы он услышал!

— А почему его это должно волновать? — простодушно спросила Амабель. — Человек ведь не может запретить себе думать. Если бы это случилось, он стал бы графом Лодором и…

Она вновь погрузилась в сладостные размышления, пока Алиса ещё немного хихикала. Потом и та замолчала и задумалась. В конце концов, может быть… Надо же смотреть на вещи практически. Мысли её приняли такое направление, что, когда Амабель нарушила тишину дрожащим шёпотом, исполненным кроткого благоговения, Алисе уже было не до смеха.

— Алиса, как ты думаешь, молитва действительно помогает?

— Я молилась о разном, но никогда ничего не получала, — ответила Алиса. — Но ты ведь помнишь, что викарий говорил в воскресной проповеди: «Просите, и дано будет вам».

— Может быть, ты молилась не с тем душевным настроем, — с истинным благочестием предположила Амабель. — А что, если мы… если мы попробуем? Давай встанем с постели и преклоним колени.

— Сама вставай и преклоняй колени, — без всякого сочувствия ответила Алиса. — Ты ради меня и пальцем не пошевелила бы.

Амабель села на край кровати. В слабом лунном свете, в белой ночной рубашке она казалась почти ангелом. В руке она держала конец длинной мягкой светлой косы, спускавшейся через плечо, а глаза её были полны упрёка.

— Мне кажется, тебе следовало бы проявить хоть немного участия, — жалобно сказала она. — Ведь если бы меня здесь не было, у тебя и у остальных стало бы больше шансов.

— Вот и подожду, пока тебя здесь не будет, — невозмутимо ответила Алиса.

Но Амабель чувствовала, что в данном случае ждать нельзя. Яхта, которая «зашла» в гавань, могла очень скоро «выйти» обратно. Она опустилась на колени, сложила тонкие юные руки и склонила на них лоб. По существу, она умоляла Божественную Премудрость направить мистера Роберта Гарета-Лоулесса на столь желанный путь. Она также дала всевозможные обещания, ибо нет ничего легче, чем обещать. Под конец она с мягким пылом попросила, чтобы, если молитва будет услышана, «что-нибудь случилось» и она могла стать графиней Лодор. Невозможно было выразить такую просьбу с большей осторожностью и деликатностью.

Поднявшись с колен, она почувствовала себя необыкновенно возвышенной и даже чуточку святой. Алиса уже крепко спала, и Амабель нежно вздохнула, укладываясь рядом с ней. Едва её прелестная головка коснулась подушки, как глаза закрылись. Она тоже заснула и в слабом лунном свете, с длинной мягкой косой на плече, выглядела ещё более ангельской, чем прежде.

Было ли это следствием трогательного обращения к Престолу Благодати или нет, но Роберт Гарет-Лоулесс действительно сделал предложение. Через три месяца в старинной деревенской церкви состоялась свадьба, и пять похожих на цветы подружек невесты последовали за самой невестой-цветком к алтарю, а позднее в тот же день — на станцию, откуда мистер и миссис Роберт Гарет-Лоулесс отправились в Лондон. Возможно, Алиса и Олив тоже преклонили колени у своих белых кроватей в ночь после свадьбы: ведь в тот счастливый день двое друзей жениха, один из которых владел яхтой, решили снова приехать туда, где обитали самые нимфоподобные создания, каких им доводилось видеть. Какие нежные маленькие светловолосые головки, какие прелестные вздёрнутые носики и стройные белые шеи, какой поток весёлой болтовни и милого вздора! Если у мужчины достаточно собственного состояния, почему бы не взять в жёны самую хорошенькую девушку, какую он встретит? Так Алису и Олив тоже увезли прочь. Бедные мистер и миссис Даррел вздохнули с облегчением, а в некогда переполненном доме, где теперь появились свободные комнаты, прибавилось и возможностей, и оснований для светлых надежд.

Некоторая рассеянность со стороны Провидения, несомненно, была причиной того, что с семьёй лорда Лодора так ничего и не «случилось». Напротив, четверо его сыновей-великанов росли на удивление крепкими, а спустя несколько месяцев после свадьбы Гаретов-Лоулессов леди Лодор, словно несколько перестаравшись, подарила мужу ещё и близнецов-мальчиков. Они оказались такими богатырями, что долгие годы их в шутку называли «двумя Геркулесами».

К тому времени Амабель уже превратилась в «Пёрышко» и, несмотря на изобретательную, тщательно продуманную Робертом систему жизни буквально без всяких средств, успела убедиться, что «жизнь на задворках Лондона» отнюдь не усыпана розами. Ведь и задворки непременно должны были находиться «на правильной улице», а вся обстановка — хотя бы казаться принадлежащей к миру беспечной светской лёгкости. Поэтому долги не кончались, от кредиторов приходилось прятаться, а притворяться и лгать — ловко и с весёлым видом.

Порой положение становилось настолько отчаянным, что приходилось пропускать важнейшие встречи, и для сочинения правдоподобных оправданий требовалась настоящая гениальность. Узкий домик между двумя большими особняками был безрассудной затеей медового месяца, но после года изящных маленьких обедов у себя и поездок на роскошные большие обеды к другим в щегольском, хотя и небольшом бруэме (*бруэм, от англ. Brougham — это тип закрытого пассажирского* экипажа) положение супругов стало напоминать попытку удержать равновесие на острие меча.

Тогда родилась Робин. Разумеется, она была незваной гостьей и настоящим бедствием. Никто и на мгновение не предполагал её появления. Когда Пёрышко впервые объявила, что, вероятно, станет матерью, она проплакала целую неделю. Потом, однако, сумела забыть о грядущей неприятности, продолжала бывать на вечерах и танцевать до самого последнего срока, сохраняя неизменный успех: её красота была восхитительна, а прозрачность ума нисколько не утомляла поклонников обоего пола.

Мысль о том, что Пёрышко стало матерью, породила немало легковесных острот, когда нянька принесла вниз Робин, похожую на свёрток кружев, чтобы показать гостям в тесной, пёстрой гостиной маленького дома на улице в Мэйфэре.

Первый вопрос о ребёнке задал глава дома Кумб.

— Что вы собираетесь с ней делать? — спросил он с отстранённым видом.

Даже столь часто упоминаемый «ещё не рождённый младенец» не мог бы смотреть невиннее, чем прелестное Пёрышко. Её васильковые глаза были столь же свободны от мыслей и намерений, как чистая родниковая вода в самый ясный день.

Её звонкий смех тоже был чист — восхитительно чист.

— Делать? — повторила она. — А что вообще «делают» с младенцами? Полагаю, нянька знает. Я не знаю. Ни за что на свете не стала бы её трогать. Она меня пугает.

Она чуть приблизилась и наклонилась посмотреть на ребёнка.

— Я буду звать её Робин, — сказала она. — На самом деле её зовут Роберта, ведь Робертом девочку не назовёшь. Люди станут оборачиваться, услышав, что девушку зовут Робин. К тому же у неё глаза как у малиновки. Хотела бы я, чтобы она открыла их и вы сами увидели.

И по случайности именно в эту минуту девочка медленно открыла глаза. Они были тёмно-карими, влажно блестящими; казалось, они целиком состояли из сияющей радужки, неподвижно устремлённой на предмет, оказавшийся в поле зрения. Этим предметом был глава дома Кумб.

— Она смотрит прямо на меня. «В её взгляде чувствуется неприязнь», —сказал он и тоже неподвижно посмотрел на неё, но с некоторым холодным интересом.

Глава II

«Глава дома Кумб» — такого титула нельзя было найти ни в справочнике Бёрка, ни у Дебретта. Это была тонкая ирония самого обладателя титула; знакомые подхватили выражение и нередко употребляли его в минуты веселья с тем же ироническим оттенком. В списках пэров он значился маркизом, к каковому достоинству прилагалось ещё несколько менее значительных титулов.

— Когда английское общество соблюдало приличия, порою даже до неповоротливости, — так излагал он свою точку зрения, — родиться «главой дома» означало принять на себя тяжёлую, внушающую трепет обязанность. Во время грозных бесед с родителями и наставниками, когда вас наедине обличали за безнравственные поступки — например, за долги или непосещение церкви, — это обстоятельство приводилось как последний, неопровержимый довод. Глава дома обязан был служить Примером. В деревне надлежало являться на своё место в церковной скамье и громогласно объявлять себя «жалким грешником», регулярно приглашать приходского священника к обеду, а «дамы» семейства раздавали деревенским жителям

чай, фланелевые нижние юбки и детское бельё. В те блаженные времена мужчины и женщины именовались «леди» и «джентльменами». Человек что-нибудь Представлял: партии в парламенте, благотворительные общества, британское гостеприимство в виде невероятно долгих обедов, на которых провозглашали тосты и произносили речи. В цветущей юности танцевали шоттиш (*шоттиш или скотиш — это популярный парный бальный и народный танец Викторианской эпохи, XIX век*), польку и круговой вальс, который лорд Байрон объявлял непристойным. Когда доводится ужинать в кабаре, воспоминание о пылкости его стихотворения вызывает улыбку.

Когда он разбирал собственное отношение к окружающему миру, его считали чрезвычайно забавным.

— Я родился несколько слишком поздно и несколько слишком рано, — объяснял он со свойственной ему лёгкостью, холодноватой отстранённостью. — Я родился и получил воспитание на исходе одной эпохи, а жить мне пришлось уже в другой, к которой надобно было приспособиться. Можно сказать, меня качали в колыбели среди драгоценных реликвий нравственных правил времён Георгов, королевы Шарлотты и цветущей королевы Виктории. Сам я был в расцвете сил, когда «дамам» делали замечания за слишком глубокие вырезы платьев на придворных приёмах. Такое воспитание придаёт своеобразный интерес модам, при которых лиф становится сущей безделицей, а греческие нимфы, танцующие босиком и обнажающие прекрасные ноги, могут оказаться вашими собственными родственницами. Надеюсь, никто не заподозрит в моих словах даже тени осуждения. Я лишь наблюдаю за стремительностью перемен с совершенно беспримесным интересом. Как глава дома Кумб я уже не уверен, Примером чего — или для кого — должен служить. Вот почему иногда я позволяю себе смотреть на себя в этом качестве с несколько непочтительной весёлостью.

Отстранённость, с какой он спросил о новорождённой дочери беспечно-безответственной Пёрышко, вполне соответствовала его отношению к странному происшествию под названием Жизнь — с её Миром, Плотью и Дьяволом. Насколько можно было судить, ничто из этого не производило на него особого впечатления, не тревожило и не вызывало предубеждения. Собственный его опыт был чрезвычайно разнообразен; возможности наслаждаться, предаваться греховным или невинным удовольствиям, пороку в умеренной или неограниченной степени, приобретать необычные познания и пренебрегать скучными запретами были практически безграничны. При таких обстоятельствах потребовалось бы сверхчеловеческое милосердие, чтобы не предположить, что в пору цветущей молодости он воспользовался своими возможностями. Богатства и отсутствия ограничений самих по себе хватило бы, чтобы викторианский ум, воспитанный в духе нонконформизма, увидел в молодом — или уже немолодом — мужчине ужасный образец безнравственности. Но когда к этим соблазнам присоединялись красота и известный блеск ума, они настолько неизбежно сопровождались изысканным распутством, что выводы можно было считать заранее известными.

Тот факт, что в самых разных странах и кругах его с радостью принимали как интересного и желанного, пусть и более или менее возмутительно грешного человека, глава дома Кумб — ещё задолго до того, как действительно возглавил свой род, — воспринимал с отстранённостью, которой научился ещё раньше. Какое, собственно, значение имеет то, что думают о тебе люди? Какое значение имеет то, что ты сам думаешь о себе? И, следовательно, зачем вообще думать? В начале жизненного пути он был блистательно счастливым молодым язычником, исповедовавшим эту простую теорию. Спустя несколько лет счастья в нём поубавилось, но язычником он остался прежним и сохранил теорию, утратившую первоначальный беззаботный восторг и приобретшую скрытую горечь. Он не женился, и для объяснения этого обстоятельства рассказывали бесчисленные истории. Большинство из них были совершенно ложными, и ни одна — вполне правдивой. Когда он перестал быть молодым, его упорное уклонение от брака обсуждали особенно усердно, тем более после смерти отца, когда он занял место главы

семейства. Он был достаточно взрослым, богатым и значительным человеком, чтобы женитьба стала почти обязательной. Однако он оставался холостяком. Более того, он, по-видимому, считал своё воздержание исключительно собственным делом.

— Вы и вправду так порочны, как о вас говорят? — однажды спросила его дерзкая молодая женщина. Она принадлежала к тому молодому кругу, который в тот сезон осторожно пробовал дерзость в качестве новой моды.

— Право, не знаю. Это так трудно определить, — ответил он. — Мне было бы легче судить, если бы я точно знал, что такое порочность. Как только выясню, непременно вам сообщу. Как любезно с вашей стороны проявлять интерес.

Он знал, что тридцатью годами раньше юная леди, прослышавшая о его порочности, скорее сгорела бы от стыда, чем позволила себе столь нескромно упомянуть об этом. Зато она могла бы деликатно попытаться оказать первую помощь его исправлению, с милой кротостью заведя разговор о посещении церкви.

Дерзкая молодая женщина посмотрела на него с таким вниманием, что он, разумеется, заметил: ответ лишь усилил её интерес.

— Я никогда не понимаю, что вы хотите сказать, — произнесла она почти с тоской.

— Я тоже, — любезно откликнулся он. — И уверен, что разбираться в этом не стоит. В самом деле, ни один из нас не знает, что имеет в виду. Возможно, я порочен настолько, насколько вообще умею быть порочным. А возможно, у меня есть досадные ограничения. Или их нет.

После смерти отца он стал проводить несколько больше времени в Лондоне и несколько меньше — странствуя по свету. Однако к сорока годам он хорошо знал и дальние, и ближние страны, был близко знаком с их народами. В наиболее своеобразных кварталах большинства больших городов он нашёл бы дорогу даже с завязанными глазами. Он многое видел и многое узнал. Больше всего его занимали стремления и перемены в жизни народов, государственных деятелей, правителей и тех, кем они управляли или кто управлял ими. Его знали при дворах и в столицах; положение позволяло ему с полным удобством оставаться наблюдателем. Внешне он принадлежал к людям, не внушающим собеседникам осторожности, и потому слышал многое, что наводило на размышления, а порой прямо проливало свет на происходящее. Те, кто говорил с ним, не подозревали, что он надолго запоминает услышанное и умеет делать проницательные выводы. Между тем память у него была замечательная: не мешок с беспорядочно сваленными разноцветными лоскутами, а обширное, тщательно устроенное хранилище, где всё было рассортировано, внесено в каталоги и надёжно укрыто от чужих глаз. Он имел также привычку мысленно прослеживать всякий вопрос до его логического завершения. Он хорошо знал людей, которые, нахмурив брови и осторожно занеся руку, обдумывали ходы на великой шахматной доске — карте Европы. Следить за их игрой доставляло ему огромное удовольствие. Благодаря своему положению он был знаком с особами, носившими короны и привыкшими как к чему-то естественному принимать почести, выражаемые обнажёнными головами и преклонёнными коленями. В сорок лет он вспоминал, как впервые поразился нелепости, ненормальности и шаткости оснований, на которых стояли такие особы. Это открытие, почти кощунственное по своей новизне и смелости, пронзило его сознание словно удар молнии. Тогда он заговорил об этом лишь с одним человеком.

— Я не собираюсь высказывать нравственные или этические суждения, — сказал он. — Я только вижу. Всё это — в нынешнем виде — распадётся. Что придёт ему на смену, я совершенно не представляю, и оттого перспектива кажется мне довольно ужасной. Столько веков люди привыкали к старым ориентирам, к прежней пышности и живописности, что невозможно вообразить землю без них. Короли существовали даже на островах каннибалов.

Из него мог бы выйти дальновидный государственный деятель или дипломат, но он был слишком занят Жизнью как развлечением и слишком привык потакать себе, чтобы посвятить

себя какой-либо работе. Он охотно признавал перед собой, что человек никчёмный, однако это его не тревожило. Раз уж природа наградила его определённым складом ума, этот ум наблюдал и работал помимо его воли, добавляя существованию остроты и занимательности. Вот и всё.

Нельзя сказать, чтобы с годами его особенно радовало сознание того, что, рассказывая о нём незнакомцу, люди почти неизменно упоминали: он самый безукоризненно одетый мужчина в Лондоне. Скорее ему была неприятна сама эта мысль, хотя он понимал, что утверждение совершенно справедливо. Совершенство его внешнего облика возникло ещё в молодости из тайного чувства уместности и гармонии. Фактура и цвет доставляли ему почти ненормальное наслаждение. Но как мужчина он имел определённые пределы для выражения этого чувства, и потому сосредоточился на совершенстве. Даже в двадцать пять лет его не называли щёголем, и даже в сорок пять никто ещё не намекал на Бо Браммелла, хотя к тому времени и мужчины, и женщины часто описывали друг другу покрой и цвет его одежды, а портные умоляли удостоить их хотя бы крохами своего покровительства в надежде получить право упоминать его среди клиентов. Стоило ему появиться в одежде определённого цвета или покроя, как это немедленно входило в моду: новинку подхватывали, носили, преувеличивали до тех пор, пока её создатель внезапно от неё не отказывался, и она не исчезала в безвестности дешёвых подражаний и дешёвых портновских мастерских. Как только возникало первое преувеличение созданной им гармонии, подлинник больше не появлялся.

У самой Пёрышко был поразительный дар подбирать наряды. Порой этот дар почти достигал уровня настоящего творчества. Её страсть украшать себя выражалась в изобретательных сочетаниях и временами в совершенно неожиданном своеобразии линий. Её стройная светловолосая фигурка и воздушные пепельно-золотые волосы позволяли ей носить маленькие и большие шляпы самых причудливых наклонов и изгибов, самых смелых оттенков — таких, которые не шли другим женщинам, но которые те неизменно пытались копировать, сколь бы плачевными ни были результаты. Из-под мягких опущенных или странно отогнутых полей, безнадёжно уродовавших большинство лиц, её личико выглядывало прелестно и забавно, словно лицо ребёнка на картине, примерившего бабушкин чепец. Всё ложилось на неё или облегало её восхитительными складками, которые при всей своей причудливости никогда не становились нелепыми.

— Мне всё идёт, — говорила она с полной простотой. — Но часто стоит заколоть платье парой булавок, подобрать его тут или там, или чуть примять шляпу, чтобы она сидела криво, и получается ещё лучше. Меня всё время спрашивают, как я это делаю, а я сама не знаю. На прошлой неделе я купила шляпу у Сериз, дважды легонько стукнула по ней кулаком — один раз по тулье, другой по полям, — и она стала чудесной. Горничная одной чрезвычайно важной особы пыталась выведать у моей горничной, где я её купила. Конечно, я запретила говорить.

Она создавала моды, и ей подражали так же, как главе дома Кумб, но её это приводило в восторг, и вся сила серого вещества, помещавшегося в её крохотных мозговых клетках, была сосредоточена на желании изобретать всё новые фантазии и удивлять свой свет.

Не прошло и года после свадьбы, как в сознание Боба Гарета-Лоулесса начал закрадываться страшный вопрос: не окажется ли она со временем невыносимо скучной — особенно если к тому же утратит часть своей красоты? Она без умолку болтала о пустяках и была такой легкомысленной, расточительной дурочкой, одержимой нарядами — нарядами, нарядами, — словно без них нельзя было дышать. Однажды утром он около двух часов наблюдал, как она сидела перед зеркалом и приказывала горничной снова и снова менять причёску: делать нежные пышные завитки и свободные локоны, гладкие мягкие пряди и петли, косы и узлы. Наконец он коротко, неловко рассмеялся и высказал своё мнение — хотя она не поняла, что он высказывает мнение, да и не поняла бы, даже если бы знала.

— Если у тебя есть душа, а я вовсе не уверен, что она у тебя имеется, — сказал он, — она разделена на ателье портнихи, парикмахерскую и шляпную мастерскую. Там навалены груды шляп, платьев и бриллиантовых гребней. Ужасный беспорядок, Пёрышко.

— Надеюсь, там есть ещё обувная и ювелирная лавки, — весело засмеялась она. — И кружевная мастерская. Мне всё это необходимо.

— Это лавка тряпья, — сказал он. — В ней одни шифоновые лоскутки.

— Если я вообще думаю о душах, то представляю их смешными газовыми созданиями, которые плавают, как маленькие воздушные шарики, — беззаботно ответила она.

— А ведь мысль! — отозвался он, рассмеявшись громче. — Твою можно было бы сделать из розового и голубого газа, усыпанного теми блёстками, которые ты называешь пайетками.

Эта фантазия её увлекла.

— Будь у меня такая душа, — сказала она с довольным, вдохновенным видом, — она бы прелестно смотрелась, паря над моим плечом. Или даже над шляпкой. Или по вечерам над волосами, прикреплённая тоненькой сверкающей цепочкой с бриллиантовой булавкой, и с чудесными маленькими розовыми и голубыми ленточками. С истинно гениальным чутьём она тотчас отвела этой идее надлежащее место в устройстве своей вселенной. Роберт рассмеялся ещё громче.

— Не смеши меня, — сказала она, подняв руку. — Мне сейчас укладывают волосы к тому бледному мышиному платью, такому строгому, почти квакерскому, с маленьким старомодным чепчиком. Я хочу и лицо под него настроить. Нужно выглядеть милой и скромной. В таком платье и шляпке нельзя по-настоящему смеяться. Можно только улыбаться.

Несколькими месяцами раньше Бобу трудно было бы поверить, что она говорит это без малейшего юмора, но теперь он понимал, что дело именно так и обстоит. У него самого было некоторое чувство юмора, и одна из причин смутного опасения, что жена станет ему скучна, заключалась в том, что у неё этого чувства не было вовсе.

Именно на садовом приёме, куда она явилась в тонком мышином платье квакерского вида и маленьком чепчике, глава дома Кумб впервые увидел её. Приём устраивал модный художник, живший в Хэмпстеде, где у него был сад и несколько прекрасных старых деревьев. Пёрышко намеренно выбрала этот нежный, приглушённый тон. Все остальные женщины были в голубом, розовом, жёлтом, белом или в цветочных узорах, а она в своей прохладной дымчатой ткани необычного оттенка изысканно выделялась среди них. На других головах красовались широкие, изогнутые или обвислые шляпы, а она напоминала маленькую монахиню или воображаемый портрет очаровательной юной прабабушки. Ни одна женщина на изумрудной лужайке или под раскидистыми деревьями не привлекала внимания так, как она.

Когда взгляд Кумба впервые упал на неё, он беседовал с группой гостей и внезапно умолк. Один человек, стоявший совсем рядом, впоследствии рассказывал, что на секунду-другую Кумб побледнел — почти как человек, увидевший нечто пугающее.

— Кто это под медным буком, с кем разговаривает Харлоу? — спросил он.

Пёрышко действительно слушала с кротким видом, опустив веки ровно настолько, насколько это гармонировало с ангельским маленьким чепчиком.

— Это миссис Роберт Гарет-Лоулесс. Мы зовём её Пёрышко, — ответили ему. — Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь хитроумнее этого неожиданного дымчатого платья? Будь оно огненного цвета, его заметили бы не так быстро.

— И смотрели бы на него не так долго, — сказал Кумб. — Тут невольно рискуешь уставиться. А эта шляпка — или чепчик — с торчащими полями, завязанная под розовым ушком атласным бантом, который придерживает бледный бутон! Не избавит ли меня кто-нибудь от неприличного разглядывания, подведя к ней? Если я буду с ней разговаривать, это уже не будет разглядыванием. Прошу вас.

Когда его повели через лужайку и он приблизился к медному буку, бледность снова проступила на его лице. Он всё ещё был довольно бледен, когда Пёрышко подняла на него глаза. Природа придала её глазам такой разрез, что, поднимая их, она казалась ангелом. Бывают глаза именно такой формы. Но не прошло и пятнадцати минут разговора, как он понял, что больше нет никакой действительной причины бледнеть при виде этой женщины. Поначалу ему показалось, что такая причина существует. С безошибочным чутьём, всегда помогавшим ей определять, что к чему подходит, она ещё до истечения этих пятнадцати минут — едва цвет успел вернуться к его лицу — принялась рассказывать, как её муж представлял себе её душу: воздушным шариком из розового и голубого газа, усыпанным пайетками. А также о собственной задумке носить этот шарик над плечом или волосами, подвесив на лёгкой сверкающей цепочке, с нежными развевающимися ленточками. Его смех очень её обрадовал, хотя показался ей несколько надтреснутым и резким. Она знала, что перед ней важная особа, а когда люди смеялись, она всегда считала, что имела успех.

— Восхитительно! — сказал он. — Отныне я никогда не смогу представить вас без этого украшения. Но разве не придётся иногда менять его цвет?

— О да! Чтобы подходил к платью, — серьёзно ответила она. — Не могу же я надеть розово-голубой шарик с этим... — Она взглянула на свою дымчатую мышиную ткань. — Или пайетки.

— О нет, только не пайетки, — почти серьёзно согласился он; резкий смех уже стих.

— Невозможно сразу представить себе точный оттенок. Нужно подумать, — размышляла она. — Может быть, что-нибудь туманное, тускло-голубоватое, как край дождевой тучи, почти вовсе без цвета.

На миг её взгляд затуманился мягкой грустью, словно она всматривалась в сон. Он пристально наблюдал за ней. Так могла бы выглядеть женщина, подобная ангелу, когда спрашивала бы себя, о чём её чистая душа смеет молиться. Потом он снова рассмеялся, и Пёрышко рассмеялась вместе с ним.

В её голове уже торопливо сменяли друг друга весьма практические мысли. Для них было бы лучше всего, если бы она ему действительно понравилась. У Боба возникали всевозможные неприятности с кредиторами. Счета присылали снова и снова, письма становились всё менее любезными. Портниха и модистка позволяли себе самые грубые намёки, которые, собственно, уже трудно было назвать намёками. Она едва осмеливалась заговорить с их нарядным молодым лакеем, зная, что тот согласился служить в их узком домике лишь потому, что ему обещали возможность сделать следующий шаг в карьере. Она не знала, что в агентстве положение обрисовали так:

— Пара красивая, и он племянник лорда Лодора. Они непременно захотят пожить в своё удовольствие, а к ним будут ездить модные люди, потому что она так хорошенька. Продержатся, может быть, два-три года, а ты станешь открывать двери таким гостям, которые запомнят ладного молодого человека, если он покажет, что знает своё дело лучше обычного.

Чем больше мужчин положения главы дома Кумб будет посещать их тесный домик, тем вероятнее, что хозяев станут чаще приглашать в хорошие дома и продолжат давать им в кредит, — это Пёрышко понимала. Кроме того, простодушно рассуждала она, если он богат, то, несомненно, одолжит Бобу денег. Она уже знала, что некоторые мужчины, которым она нравилась, поступали именно так. Её это ничуть не смущало. Деньги ведь необходимы.

Так началось знакомство, вызвавшее множество споров за чайными чашками, на званых обедах, в будуарах и даже по углам пёстрой маленькой гостиной самой Пёрышко. Спорили о том, насколько сильно Кумб ею заинтересован. Степень его интереса к любой женщине всегда возбуждала любопытство — особенно у самой женщины, и притом втайне. Случайные и поверхностные наблюдатели говорили, что он совершенно увлечён ею, если только человек его склада вообще способен увлечься. Люди более вдумчивые утверждали, что для человека

его склада это невозможно и что, если Пёрышко чем-то его привлекает, причина особенная, понятная лишь ему самому; объяснить её мог бы только он — но не станет.

Оставался, однако, несомненный факт: он находил возможность видеться с нею очень часто. Можно было даже сказать, что он словно следовал за ней по пятам. И не один из вдумчивых наблюдателей замечал, как он иногда стоял чуть поодаль и смотрел на неё — наблюдал с выражением, в котором одинаково явственно читались глубокая задумчивость и твёрдое намерение ничем не выдать своих размышлений. Но в обращении с ней не было и тени глубокомыслия. Он разговаривал о том, о чём ей нравилось говорить больше всего: о ней самой, её успехах и нарядах, имевших ещё больший успех, чем всё остальное. Он бывал на небольших, но чрезвычайно оживлённых обедах Гаретов-Лоулессов и, хотя слыл человеком, уже не любящим танцевать, время от времени танцевал с ней на балах.

У самой Пёрышко не было ни малейших сомнений на его счёт. Она была совершенно уверена, что он влюблён в неё. Её представление об этом всеобщем чувстве сводилось к нарядам, близости и красоте, а ещё к тому, что, если проявить немного ума, благодаря любви можно получить желаемое. Её собственная всепоглощающая любовь к Бобу и его любовь к ней обеспечили ей жизнь в Лондоне со всеми её развлечениями. Когда она говорила мужу об этом желанном завоевании, её откровенность была лёгкой и дружеской.

— Разумеется, теперь ты сможешь брать в долг у его портного: вы ведь так хорошо знакомы, — сказала она. — Когда на прошлой неделе я уговорила его пойти со мной к мадам Элен, она была сама любезность. Он помог мне выбрать шесть платьев, и, кажется, она позволила бы выбрать ещё шесть.

— Она думает, что он за них заплатит? — спросил Боб.

— Неважно, что она думает, — очень мило рассмеялась Пёрышко.

— Неважно?

— Ни капельки. Платья-то у меня будут. Что с тобой, Роб? Ты весь красный и сердитый.

— У меня уже три дня болит голова, — ответил он. — Мне жарко, я раздражён. И многое из того, что ты говоришь, мне совсем не нравится, Пёрышко.

— Не глупи, — возразила она. — Мне тоже многое не нравится из того, что ты говоришь. Да и делаешь, если уж на то пошло.

Роберт Гарет-Лоулесс, сидевший на стуле в её туалетной комнате, тихо хмыкнул, потирая покрасневший, пылающий лоб.

— Есть же... какой-то предел, — заметил он. Немного помедлив, угрюмо добавил: — Тому, что человек... говорит.

— Совсем как Алиса, — невозмутимо ответила она. — Она всегда со мной ссорилась из-за того, что я что-нибудь говорила. А мне кажется, одна из причин, по которым меня любят, состоит в том, что я смешу людей своими словами. Лорд Кумб смеётся. Очень полезное знакомство, — практично добавила она. — Он почему-то имеет вес. Помнишь, ещё до знакомства с ним, когда он долго был за границей, люди то и дело упоминали его, словно не могли не вспоминать, какой он человек? Я уже много о нём знала: о его уме, манерах, о том, как он держит женщин на расстоянии, не обижая их, о том, что он говорит насчёт королевских особ и аристократии, выходящей из моды. И об одежде. Я обожаю его одежду. И убеждена, что он обожает мою.

В самом деле, она заметила его одежду ещё тогда, когда он шёл через лужайку к её месту под медным буком. Она увидела, что его стройная, тонкая фигура одета с неподражаемым совершенством, являя взору ту окончательную безупречность линии, при которой всякие замечания излишни. Он не просто носил вещи — они выражали тонкости его ума. Пёрышко же знала, что сама именно носит одежду, как бы прекрасно она ни выглядела в ней.

— Он мне нравится, — продолжала она. — Я ничего не знаю о политических партиях и положении в Европе, поэтому не понимаю его слов, которые все считают такими блестящими,

но он мне нравится. На самом деле он не так стар, как мне показалось в первый день. Тогда у него был какой-то измученный вид, особенно возле рта и глаз. Казалось, душа из розового и голубого газа, с блёстками и маленькими развевающимися ленточками, принесла бы ему облегчение.

К тому времени Робин исполнился год. Она неуверенно ковыляла по мрачной маленькой дневной детской, где проходила вся её жизнь, кроме тех случаев, когда няня, сразу влюбившаяся в нарядного молодого лакея, относила её вниз, в кухню и комнату для прислуги в подвальном этаже. Там пахло землёй и водилось множество тараканов. Название «комната для прислуги» было дано этому помещению в каталоге модного агентства, сдававшего дом; в действительности оно было таким же тесным и грязным, как две детские наверху.

На следующий день после полудня Роберт Гарет-Лоулесс, пошатываясь, вошёл в гостиную жены и рухнул на диван. Он тяжело дышал и смотрел на неё.

— Пёрышко! — выдохнул он. — Не знаю, что со мной. Кажется, я... ужасно болен! Всё плывёт перед глазами. Не могу думать.

Он беспомощно завалился набок, на подушки, так что Пёрышко бросилась к нему.

— Не надо, Роб, не надо! — воскликнула она с неподдельной мукой. — Лорд Кумб ведёт нас в оперу, а потом на ужин. Я собиралась надеть... — Она осеклась, принялась трясти его и пыталась приподнять ему голову. — О, постарайся сесть! — жалобно умоляла она. — Ну постарайся. Только не сдавайся до вечера. Но ей не удалось ни усадить его, ни заставить услышать её слова. Он тяжело лежал, раскрыв рот, с хриплым дыханием, совершенно без сознания.

Именно в эту минуту, когда она стояла над диваном, ломая руки, доложили о приходе главы дома Кумб. Он подошёл к ней и посмотрел на Гарета-Лоулесса.

— Вы послали за врачом? — спросил он.

— С ним это... только что случилось! — воскликнула она. — Я этого не вынесу. Вы говорили, что принц будет на ужине после оперы, и...

— Вы всё ещё собирались ехать? — тихо спросил он.

— Конечно, придётся вызвать сиделку... — начала она. Он даже позволил себе прервать её.

— Вам лучше не ехать, если позволите мне это сказать, — предложил он.

— Не ехать? Совсем не ехать? — простонала она.

— Совсем не ехать, — ответил он. В его тоне не было ни малейшего ободрения, и Пёрышко опустилась на стул и разрыдалась.

Не прошло и двух недель, как Роберт умер, оставив её прекрасной, без гроша вдовой с ребёнком на руках.

Глава III

Двумя или тремя десятилетиями раньше все, вероятно, сошлись бы на том, что положение «бедняжки миссис Гарет-Лоулесс» поистине жалкое. Знакомые сочувственно обсуждали бы её беспомощность и полное отсутствие средств. Такая хорошенькая, такая молодая, мать прелестной маленькой девочки — и осталась без дохода! Как печально! Что же ей теперь делать? Избранные дамы навещали бы её и, сидя в затемнённой гостиной, горячо убеждали уповать на Создателя, а для чтения советовали Священное Писание. Некоторые из них — редкие и необычные души даже для своего времени — действительно понимали бы смысл своих слов и говорили бы искренне, хотя выразить свои чувства пока умели лишь посредством привычных благочестивых формул. Остальные повторяли бы те же выражения просто потому, что готовая формула удобна, безопасна и всегда производит достойное впечатление.

Но в ближайшем окружении Пёрышка множество приглашений, лихорадочная погоня за удовольствиями и успехом, тревоги, мелкие и крупные страхи и бешеная круговерть дней не оставляли времени на созерцание чужих несчастий. Крошечный домик, на лестнице которого,

тесно прижатой к стене, даже одинокий посетитель чувствовал себя так, словно создаёт давку, внезапно перестал быть местом весёлых вечеринок — столь же шумных и увлекательных, сколь и соответствующих последней моде. Здесь говорили, делали и носили всё самое дерзкое, о чём судачил Лондон. Здесь испытывали новые светские забавы — танцы и песни, поначалу казавшиеся почти скандальными, но постепенно входившие во всеобщее употребление. Здесь всегда много смеялись, болтали вздор, перебрасывались остротами и модными словечками. А Пёрышко порхала между гостями и говорила восхитительно глупые вещи, вызывавшие взрывы хохота. Подобное место не могло вдруг сделаться обителью скорби. Казалось почти неприличным, что Роберт Гарет-Лоулесс притащил к ним Смерть во всей её неприкрытой наготе: умер в постели одной из маленьких спален, был уложен в гроб, который спустили по лестнице, царапая стену, а затем увезли на катафалке. Никто не мог вынести даже мысли об этом.

Меньше всех могла вынести это Пёрышко. Ей казалось невероятным, что с ней сыграли такую злую шутку. Она заперлась в своей душной маленькой спальне с оборками и драпировками креветочно-розового цвета и горько плакала. Сначала она плакала, как ребёнок, которого внезапно увели с праздника в самый разгар веселья. Потом стала плакать от страха. В первую неделю после похорон у входной двери оставили множество визитных карточек с выражениями соболезнования; они скопились целой кучей на подносе, но по-настоящему навестили её очень немногие. Она понимала, что недавняя утрата служит всем оправданием, однако от этого дом казался ещё ужаснее. Прежде он никогда не бывал тихим и пустым. В нём всегда что-нибудь происходило, а теперь не слышалось ни звука: никто не ходил по лестнице, комнату Роба освободили от его вещей, оставив прибранной и пустой, а гостиная напоминала нарядную маленькую гробницу без покойника. Когда же она снова наполнится людьми? Сколько ещё придётся ждать, прежде чем можно будет, не нарушая приличий, кого-нибудь пригласить? Именно тут Пёрышко и охватил настоящий страх. Её ум не привык рассуждать и не мог долго следовать за одной мыслью. Она ещё не начала задаваться вопросами о средствах к существованию. Робу в последнее время везло в карты, к тому же он занял немного денег у нового знакомого, так что пропасть не разверзлась у её ног немедленно. Но стоило ей представить будущие праздники, как внезапная мысль заставила невольно схватиться за горло. Денег у неё совсем не было, счета громоздились повсюду; возможно, теперь, когда Роберт умер, лавочники перестанут отпускать товары в кредит. Она вспомнила, как всего за день до болезни Роб вошёл в дом, осыпая всё проклятиями: на пороге ему встретился сборщик квартирной платы, давно просроченной и подлежавшей немедленной уплате. У неё не было денег ни на аренду, ни на жалованье прислуге, ни на домашние счета, ни на ежемесячную плату за наём экипажа! Неужели её выставят на улицу? Неужели слуги уйдут? Неужели она останется даже без кареты? А что делать с нарядами! Теперь ей нельзя носить ничего, кроме траура, а когда траур закончится, прежние платья уже выйдут из моды. В то утро, когда эта сторона положения впервые открылась ей, Пёрышко так перепугалась, что принялась метаться по комнате, словно маленькая кошка, попавшая в ловушку и не видящая выхода.

— Это ужасно… ужасно… ужасно! — вырывалось у неё сквозь рыдания. — Что мне делать? Я ничего не могу! Ничего нельзя сделать! Это ужасно… ужасно… ужасно!

В конце концов она бросилась на кровать и плакала до полного изнеможения. У неё не хватало душевных сил даже на то, чтобы представить себе какое-либо занятие, кроме плача. Прежде она плакала очень редко: даже в пору стеснённых обстоятельств ей удавалось получать более или менее всё, чего хотелось, хотя, конечно, чаще «менее», чем «более». К тому же от слёз краснеют нос и глаза. На этот раз она совершенно забыла о носе и глазах и плакала так долго, что, поднявшись и взглянув в зеркало, едва узнала себя.

Она позвонила горничной и села ждать. Тонсон должна была принести чашку мясного бульона.

«Уже пора обедать, — подумала она. — От слёз я совсем обессилела. И пусть она промоет мне глаза розовой водой».

Обычно Тонсон не заставляла хозяйку ждать, но сегодня почему-то медлила. Пёрышко позвонила второй раз, потом в третий, уже нетерпеливо, и снова уселась в кресло. Вскоре она ощутила то, что в эти страшные дни чувствовала постоянно: мёртвую тишину дома. Именно эта отвратительная неподвижность и безмолвие вселяли в её душу наибольший ужас. Прислуга, обитавшая в полуподвале, была так надёжно отгорожена в своих мрачных каморках, что наверху её не услышали бы, даже если бы слуги захотели пошуметь. В последние недели Пёрышко порой даже желала, чтобы они были хуже воспитаны и производили хоть какой-нибудь шум — лишь бы нарушить тишину.

Комната, где она сидела, и примыкавшая к ней ужасная маленькая комната Роба были замкнутыми вместилищами совершенного безмолвия. Комната Роба казалась ужасной потому, что однажды она на мгновение увидела там на кровати нечто неподвижное и окоченевшее, прежде чем её, бившуюся в истерике, увели прочь. Весь дом онемел, даже с улицы не доносилось ни звука. Она не могла этого вынести. Как смеет Тонсон? Пёрышко вскочила и принялась звонить снова и снова, пока звон колокольчика не разнёсся по всему дому.

Затем она опять стала ждать. Ей показалось, что прошло минут пять, прежде чем она услышала, как молодой щеголеватый лакей медленно поднимается по лестнице. Она не стала ждать его стука и сама распахнула дверь.

— Как смеет Тонсон! — начала она. — Я звонила четыре или пять раз! Как она смеет!

Манеры молодого лакея были выработаны в хорошей школе. Он держался предупредительно и совершенно бесстрастно.

— Не знаю, мэм, — ответил он.

— Что вы хотите сказать? Что она себе позволяет? Где она? — От его невозмутимой учтивости у Пёрышка почти перехватило дыхание.

— Не знаю, мэм, — повторил он и с той же беспристрастностью прибавил: — Никто из нас не знает. Она ушла.

Пёрышко ухватилась за дверную ручку, почувствовав, что теряет равновесие.

— Ушла? Ушла? — еле выдохнула она.

— Вчера она уложила чемодан, а около часа назад увезла его на четырёхколёсном кэбе, мэм.

Пёрышко отпустила ручку, побрела обратно к креслу и бессильно в него опустилась.

— Кто же… кто же теперь будет меня одевать? — почти простонала она.

— Не знаю, мэм, — ответил молодой лакей с безупречной сдержанностью, не позволявшей себе ни советов, ни суждений. Однако он добавил: — Кухарка, мэм, просит позволения поговорить с вами.

— Скажите ей, пусть придёт сюда, — произнесла Пёрышко. — И я… я хочу чашку мясного бульона.

— Слушаюсь, мэм, — ответил он с полным почтением и тихо закрыл за собой дверь.

Вскоре дверь открылась вновь. Кухарка постучала, и Пёрышко велела ей войти. Большинство кухарок отличаются полнотой, но эта была худой, высокой женщиной с квадратными плечами и квадратным лицом, покрасневшим от постоянной близости к огню. Она получила образование в кулинарной школе. В руках у неё была стопка небольших счётных книжек, но больше она ничего не принесла.

— Я просила мясного бульона, кухарка, — с упрёком сказала Пёрышко.

— Бульона нет, мэм, — ответила кухарка. — В доме нет ни мяса, ни готового отвара, ни экстракта Либиха.

— По… почему? — запинаясь спросила Пёрышко. Даже при всей своей душевной слепоте она заметила в лице женщины нечто новое. На нём читалась какая-то окончательность.

Кухарка протянула стопку книжек.

— Вот счета, мэм, — пояснила она. — Возможно, поскольку вы не любите беспокоиться о таких вещах, вы и не знаете, сколько накопилось долгов. Уже несколько месяцев ничего не оплачено. Каждый день приходилось с боем добывать необходимое. Кухарке не слишком приятно постоянно бороться и упрашивать. Но мне приходилось это делать, потому что я дорожу своей репутацией и не могла подавать гостям какую-нибудь дрянь.

Пёрышко почувствовала, что бледнеет, и продолжала молча смотреть на неё. Кухарка подошла ближе и стала одну за другой класть маленькие книжки на столик рядом с хозяйкой.

— Это счёт мясника, — сказала она. — Уже три дня он ничего не присылает. Мы доедали остатки. Он сказал, что больше ничего не даст, и это не пустые слова. Это счёт булочника. Он не появлялся целую неделю. Я пекла булочки сама, потому что оставалось немного муки. Теперь мука кончилась, и с булочником тоже всё кончено. Это бакалея. Фирма «Мерком и Физ» написала мистеру Гарету-Лоулессу, когда доставляла припасы за прошлый месяц, что до оплаты это будет последняя поставка. Здесь счета за вино, уголь и дрова, прачечную и молоко. А вот жалованье, мэм, с которым дальше так продолжаться не может.

Пёрышко всплеснула руками с почти безумным видом.

— О, уйдите! Уйдите! — вскрикнула она. — Если бы мистер Лоулесс был здесь…

— Но его нет, мэм, — перебила кухарка не свирепо, а таким тоном, который пугал сильнее любой ярости: он неумолимо указывал на конец всему. — Пока в доме есть джентльмен, обычно остаётся хоть какая-то надежда, что дела удастся как-нибудь уладить. Во всяком случае, есть человек, которому можно высказать всё прямо, даже если после этого придётся уйти со службы. Но когда нет джентльмена, нет ничего и никого, порядочным людям, которым надо зарабатывать на жизнь, приходится самим заботиться о себе.

Женщина вовсе не собиралась дерзить. Говоря, что после смерти хозяина не осталось «ничего» и «никого», она не вкладывала в эти слова сознательной насмешки над бесплотной, почти невесомой сущностью Пёрышка. Что же до остального, её профессионально обучили не только готовить, но и защищать собственные интересы; нравы времён её бабушки, когда слуги бывали по-настоящему привязаны к хозяевам, до неё не дошли.

— О, уйдите! Уйди-и-те! — почти завизжала Пёрышко.

— Я и ухожу, мэм. И Эдвард, и Эмма, и Луиза тоже. Нет смысла ждать и предупреждать за месяц. Жалованья за этот месяц мы всё равно не получим, а торговцы не станут кормить нас даром. Мы не можем оставаться здесь и голодать. К тому же сейчас такое время года, когда нужно искать новые места. Не держите на нас зла, мэм. Для вас же лучше, если к вечеру нас уже не будет в доме. Сегодня вечером и увезут наши сундуки.

Тут Пёрышка охватила паника. Впервые в жизни она столкнулась с простыми житейскими обстоятельствами, которые выросли перед ней сплошной каменной стеной: её нельзя было ни перепрыгнуть, ни подкопать, ни пробить, ни обойти. Она была так потрясена и сбита с толку, что не могла придумать даже ловкой, наскоро сочинённой лжи, которая помогла бы ей выпутаться. Более того, ужас был так велик, что она вообще забыла о существовании лжи.

— Вы хотите сказать, — вскричала она, — что все вы покинете дом? Что не останется ни одного слуги, чтобы прислуживать мне? Что здесь нечего будет есть и пить? Что мне придётся остаться одной… и умереть с голоду?!

— Если мы останемся, то сами умрём с голоду, — просто ответила кухарка. — Конечно, в кладовой и шкафах кое-что ещё осталось. Можно нанять женщину, которая будет приходить на день. Вы не умрёте с голоду, мэм. У вас ведь родные на Джерси. Мы и ждали-то потому, что были уверены: мистер и миссис Даррел непременно приедут.

— Мой отец болен. Кажется, он умирает. Мама не может отойти от него ни на минуту. Возможно, он уже умер, — запричитала Пёрышко.

— Но у вас есть лондонские друзья, мэм…

Пёрышко буквально заломила руки.

— Мои друзья! Неужели я могу ходить по чужим домам, стучать в парадную дверь и говорить, что у меня нет ни прислуги, ни еды? Разве я могу так поступить? Могу?! — Она говорила как безумная.

Кухарка, выступавшая от имени остальных, сказала всё, ради чего пришла. Разговор был неприятным, но женщина знала, что не вышла за пределы своих прав и опиралась исключительно на факты. И всё же ей совсем не хотелось видеть, как её глупенькая хозяйка бьётся в истерике.

— Не распускайте себя, мэм, — сказала она. — Лучше немного полежите и постарайтесь успокоиться.

Она на мгновение замешкалась, глядя на хорошенькое воплощение отчаяния, которое поднялось с кресла и стояло перед ней, дрожа всем телом.

— Конечно, не моё дело… давать советы, — тихо произнесла она. — Но не думали ли вы, мэм, послать за лордом Кумбом?

Сквозь разорванную пелену мыслей Пёрышка на секунду пробилось нечто, имевшее очертания действительности. Кухарка заметила, что её дрожь, кажется, начала униматься.

— Кумб, — едва слышно прошептала Пёрышко, словно обращаясь к себе, а не к кухарке. — Кумб.

— Его светлость был очень дружен с мистером Лоулессом и, кажется, любил… бывать в нашем доме, — добавила кухарка в подтверждение своего совета. — Если вы приляжете, я принесу вам чашку чая, мэм. Правда, не мясного бульона.

Пёрышко, пошатываясь, добралась до кровати и упала на неё ничком — плоская, как тоненький блинчик, среди складок лёгкой чёрной ткани, свисавшей и колыхавшейся вокруг неё.

— Сливок к чаю не будет, — сказала кухарка, выходя. — Со вчерашнего дня у Луизы для мисс Робин есть только сгущённое молоко.

— О-о! — простонала Пёрышко. Не потому, что её ужаснул чай без сливок, хотя и это было достаточно страшным знаком, а потому, что впервые с тех пор, как её мир начал рушиться, она вспомнила о ещё одном бедствии — о существовании Робин.

Глава IV

Если бы кто-нибудь вздумал посвятить свои умственные силы размышлениям о том, что происходит за бесстрастными фасадами домов на любой улице большого города, воображение могло бы завести его очень далеко. Снаружи видны лишь кирпич, штукатурка, окна, двери да ступени, ведущие к порогу. За стенами может не происходить ничего особенного, а могут скрываться трагедии, преступления, чудовищные страдания. Вывод столь очевиден, что граничит с банальностью, но столь же богат пищей для размышлений. Настолько богат, что людям чрезмерно впечатлительным и наделённым слишком живым воображением ради собственного спокойствия лучше вовсе об этом не задумываться. В большинстве случаев положение не изменилось бы, даже если бы такой человек постучал в дверь и потребовал впустить его с обнажённой шпагой — в лице сопровождающего полицейского.

Узкий фасад дома, в котором жила Пёрышко, ещё сохранял свежесть недавнего ремонта. Стены были выкрашены в кремовый цвет, двери и оконные рамы белели, а из зелёных оконных ящиков свисали пёстрые побеги барвинка; над землёй, которой флорист наполнил ящики, красовались розовые герани, тёмно-синие лобелии и папоротники. Прохожие часто бросали на дом взгляд и думали, что это милое жилище, забавная миниатюрность которого сама по себе придавала ему очарование. Он немного напоминал новенький кукольный домик.

Никто из прохожих, взглянувших на него под вечер того дня, не мог заподозрить, что за кремовым фасадом происходит нечто необычное. Медные украшения входной двери были

начищены, цветы в ящиках политы, из комнат не доносилось ни единого призыва о помощи. Дом и в самом деле был тих и снаружи, и внутри. Внутри даже тише обыкновенного. Слуги готовились к уходу постепенно, без шума и суеты. Уже несколько недель, ещё до болезни Роберта Гарета-Лоулесса, каждый вечер они обстоятельно и негромко обсуждали своё положение.

Молодой лакей Эдвард, щеголеватый и умевший добывать полезные сведения, взял на себя роль частного сыщика. Со временем он выяснил всё, что только можно было выяснить. Расследование убедило его: это вовсе не тот случай, когда благоразумнее ждать, пока семейные обстоятельства естественным образом переменятся. Впереди не было никаких перспектив — решительно никаких. Дела могли только ухудшаться, и кончилось бы всё тем, что прислуга не только потеряла бы невыплаченное жалованье, но и оказалась на улице, выйдя из дверей опозоренного дома, хозяев которого тоже выставили бы вон, распродав их имущество за долги. Лучше уйти, пока всё окончательно не развалилось и не начались неприятности. А неприятности непременно начнутся: отрицать, что с поставщиками обходились нечестно, было невозможно.

Миссис Гарет-Лоулесс была всего лишь одной из многочисленных хорошеньких дочерей бедного провинциального врача с острова Джерси. Самого доктора хватил удар, а после его смерти вдове не на что будет жить. Вот на что могла рассчитывать миссис Лоулесс. Что касается лорда Лодора, Эдвард узнал от людей, которые действительно были осведомлены, что тот никогда не одобрял племянника, называл его дураком за женитьбу и наотрез отказывался иметь с ним дело. К тому же у него теперь шесть сыновей и дочь, а большие поместья, как всем известно, уже не приносят прежних доходов. Кухарке, Эдварду, Эмме и Луизе оставалось одно: убраться из дома без разговоров и споров.

— Она не из тех, кто останется без покровителя, — заключил Эдвард. — Кто-нибудь непременно возьмёт её под своё крыло, пожалеет. А мы-то не вдовы и не сироты. Нас никто жалеть не станет, никому и дела нет, в какую передрягу мы угодили. Чем дольше останемся, тем больше жалованья нам положат.

Эдвард не был ни особенно испорченным, ни циничным молодым человеком, но, закончив речь, слегка рассмеялся.

— Есть ведь ещё маркиз, — прибавил он. — Он так давно сюда наведывается, что разговоров о нём предостаточно. Самое время ему объявиться.

Выпив чашку чая без сливок, Пёрышко уснула: возбуждение и тревога истощили её силы. Вполне в духе её натуры было то, что ещё до того, как закрыть глаза, она перестала верить, будто слуги и в самом деле покинут дом. Это казалось слишком нелепым. Она была совершенно неспособна рассуждением прийти к бесспорному выводу: слугам, которым не платят и которых даже не кормят, незачем оставаться. Лёгкое возбуждающее действие чая подсказало ей также утешительную мысль: если они «будут плохо себя вести», она не даст им рекомендаций. Ей и в голову не пришло, что рекомендации из карточного домика, позорно рассыпавшегося и отныне олицетворявшего сомнительное банкротство, никому не понадобятся. С этой мыслью она и заснула.

Когда Пёрышко проснулась, на улице уже горели фонари. Свет одного из них, стоявшего прямо напротив дома, проникал в спальню. Он освещал маленький столик, возле которого она сидела, и первое, что она увидела, была стопка небольших счётных книжек. Затем её взгляд упал на стеклянную дверную ручку: тот же свет ярко блестел на ней. Дверь вела в комнату Роберта.

Она поспешно отвела глаза, нервно содрогнувшись. Близость комнаты Роба внушала ей ужас. Будь в доме другое крыло, где можно было бы спать, она перебралась бы туда, едва он заболел. Но дом был слишком мал, чтобы иметь какие-либо «крылья». Крошечные гостиные громоздились над столовой, хозяйские спальни — над гостиными, а детские и мансардные

комнатушки, где спали Робин и прислуга, располагались одна над другой под самой крышей. Поэтому ей пришлось остаться и всё вынести.

Тесная комната Роба прежде всегда была полна щегольских ботинок, запаха сигар и мужской одежды. Роб много двигался, насвистывал, смеялся, ругался и ворчал. Ни у него, ни у Пёрышка не было дурного нрава, так что они не ссорились. Одеваясь, они переговаривались через открытую дверь, придумывали ловкие способы выпутываться из денежных затруднений, сплетничали и высмеивали знакомых. А теперь дверь была заперта, и комната превратилась в источник ужаса. Пёрышко не могла подумать о ней, не увидев мысленно неподвижную, окоченевшую фигуру на кровати, плотно сжатый прямой рот и белый, заострившийся нос — такой узкий и твёрдый, каким нос Роба никогда не был при жизни. Почему-то особенно невыносимым ей казалось воспоминание об этих резких, неестественных очертаниях белого неподвижного носа. Она не могла этого вынести! Стоило ей увидеть свет на дверной ручке, как картина вновь возникла перед глазами. Она поднялась и принялась ходить по комнате, стараясь забыть её.

Именно тогда она подошла к окну и посмотрела вниз, на улицу, вероятно, привлечённая каким-то слабым шумом, хотя сама не отдавала себе отчёта, что что-либо услышала.

Но что-то она всё-таки услышала. Перед дверью стояли два четырёхколёсных кэба, и кучера с помощью Эдварда укладывали на крыши сундуки. Это были сундуки прислуги. Кухарка уже сидела в первом кэбе, набитом бумажными свёртками и всякой мелочью. Пока хозяйка смотрела из окна, туда же села Эмма, держа в руках строгую шляпную коробку. Эмма служила горничной и отличалась степенностью. Едва дверца захлопнулась и кучер взобрался на козлы, первый кэб тронулся. Во второй села Луиза: без чепца и передника няни, в сшитом по фигуре тёмно-синем костюме и шляпке с пером, она выглядела совершенно не так, как подобает прислуге. За ней последовал Эдвард, в котором теперь ничто не напоминало лакея: скорее можно было принять его за банковского служащего, отправившегося по личным делам. Второй кэб поехал вслед за первым. Затаив дыхание, Пёрышко смотрела, как оба скрываются за углом улицы.

Когда экипажи совсем исчезли из виду, она отвернулась от окна. Лицо её побелело, глаза широко раскрылись, черты заострились и исказились от такого жалкого, безнадёжного ужаса, что исчезла даже её красота.

— Они уехали... все до одного! — выдохнула она.

На мгновение Пёрышко замолчала; грудь её тяжело вздымалась. Потом ещё более прерывисто произнесла:

— В доме никого не осталось. Он... пустой!

Вот что происходило за кремовым фасадом, белыми окнами и зелёными цветочными ящиками узенького дома в тот вечер, когда мимо проезжали автомобили и экипажи, увозившие людей на званые обеды и в театры, а позднее по улице медленно прохаживался полицейский, совершая обход.

В маленькой прихожей тусклый свет выхватывал дальний угол, где над изящной скамьёй на крючке висела мужская шляпа новейшего фасона, блестящая как зеркало, а рядом — нарядное вечернее пальто. Они принадлежали Роберту Гарету-Лоулессу, который умер и больше в них не нуждался. Тот же слабый свет обнаруживал крутизну и тесноту лестницы с белыми перилами, уходившей вверх, в зловещие тёмные закоулки. А миниатюрные гостиные, куда проникал лишь свет с улицы, словно ждали, что кто-нибудь объяснит, почему в них полумрак, почему пустуют кресла и царит противоестественная тишина.

Это была бы настоящая могильная тишина, если бы время от времени её не нарушал приглушённый, словно подавленный крик, за которым следовало что-то похожее на стон. Звуки проникали сквозь потолок из комнаты наверху.

Сначала Пёрышко, как и днём, металась по комнате, точно перепуганная кошка. Затем с ней случилось нечто вроде истерики: она упала лицом вниз на ковёр и принялась хвататься за волосы, пока причёска совсем не распалась. Её нельзя было судить обычной меркой: она принадлежала к числу необъяснимых явлений человеческого существования. Прошли времена, когда люди, уверенные в собственной нравственной правоте, могли без колебаний определять степень ответственности существа, словно бы родившегося без ума, души и мужества. Те, кто стремится к нравственности, основанной на справедливости — на одной только справедливости, — часто не решаются выносить приговор. До сих пор от Пёрышка никогда не требовали храбрости. Её у неё не было вовсе, и теперь она испытывала лишь панику и обиду. Ей некогда было горевать о Роберте: она была слишком занята собой. Роберт умер, а она жива — здесь, в пустом доме, без денег и без слуг. И вдруг она с пугающей ясностью поняла, что не знает ни одного человека, от которого не было бы безумием ожидать помощи.

Ни у кого не хватает денег даже на себя, как бы богат человек ни был. Чем он богаче, тем больше ему нужно. Именно при этой мысли она и вцепилась себе в волосы. Хорошенькие, нарядные женщины и приятные, более или менее красивые мужчины, которые болтали, смеялись и флиртовали в её гостиных, в эту самую минуту болтали, смеялись и флиртовали в других домах — или сидели в театре и аплодировали модному актёру-антрепренёру. В эту самую минуту, когда она лежала на ковре в темноте, а за закрытыми дверями каждой маленькой комнаты таился ужас. Особенно за дверью комнаты Роберта, расположенной так страшно близко к её собственной: казалось, там по-прежнему лежала на кровати неподвижная, окоченевшая фигура. Когда она вспоминала об этом, противоестественную тишину гостиных прорезал короткий, наполовину сдержанный истерический вскрик, а затем сквозь потолок доносился стон. Ей почти чудилось, что дверная ручка вот-вот повернётся и нечто холодное, окоченевшее попытается войти.

Так проходили часы за кремовыми наружными стенами, белыми окнами и весёлыми цветочными ящиками. Улица становилась всё тише и тише, пока наконец тяжёлые, размеренные шаги обходившего свой участок полицейского не начали казаться громкими, почти гулкими.

Даже смутно поставить перед собой вопрос, требующий каких-либо действий, было выше её умственных возможностей. Когда она стала понимать, что от голода у неё кружится голова, ей всё равно не хватило смелости даже подумать о том, чтобы спуститься вниз и поискать еды. Что она знала о нижнем этаже? Она никогда туда не заглядывала и не обращала ни малейшего внимания на жалобы Луизы, что кухня и помещение для прислуги тесные, тёмные, неудобные и что там бегают тараканы. Пёрышко охотно придерживалась простой философии: лондонские слуги привыкли к таким вещам, и, пока они выполняют свою работу, всё остальное не имеет значения. Но выйти из комнаты в этой ужасной тишине, красться вниз, по пути зажигая газовые рожки, а затем столкнуться с лестницей в подвал и разбегающимися тараканами — это было ещё невозможнее, чем умереть с голоду. Она сидела на полу, распустив волосы по плечам и измяв тонкое чёрное платье.

— Я бы почти всё отдала за чашечку кофе, — слабо пожаловалась она. — И ведь звонить совершенно бесполезно!

Мать должна была приехать, болен отец или нет. Он ведь не умер. А Роберт умер, и мать обязана была приехать, чтобы, что бы ни случилось, дочь не оставалась совсем одна и кто-нибудь мог что-нибудь для неё сделать. Вероятно, именно эта нежная мысль о матери напомнила ей день свадьбы и один из свадебных подарков. Это была хорошенькая серебряная дорожная фляжка; она вспомнила, что фляжка, должно быть, лежит сейчас в несессере и в ней ещё осталось немного коньяка. Пёрышко поднялась и подошла туда, где хранилась сумка. Коньяк поднимает настроение и помогает уснуть; если бы удалось проспать до утра, при дневном свете дом уже не казался бы таким страшным, а там, может быть, что-нибудь случится. Фляжка ока-

залась почти полной. Ни она, ни Роберт особенно не любили коньяк. Она налила немного в стакан, разбавила водой и выпила.

Не привыкшая к крепким напиткам, она сразу почувствовала приятное тепло. Через несколько минут Пёрышко забыла о голоде и заметила, что уже не так боится. Какое облегчение — перестать дрожать от ужаса! Словно утихла боль. Она даже взяла одну-две счётные книжки и взглянула на итоговые суммы. Если платить по счетам нечем, значит, нечем; в наши дни за долги уже не сажают в тюрьму. К тому же посадили бы не её, а Роба, а Роб умер. Что-нибудь случится... непременно что-нибудь.

Принявшись укладывать волосы на ночь, она вспомнила слова кухарки о лорде Кумбе. Она столько плакала, что выглядела уже не так прелестно, как обычно; однако после того, как промыла глаза холодной розовой водой, веки лишь слегка порозовели, а вокруг глаз залегли мягкие тени. Её чудесные пепельно-золотистые волосы особенно красиво смотрелись, когда двумя широкими мягкими косами спадали на плечи. Она могла сойти за пятнадцатилетнюю школьницу. Тонкая кружевная ночная рубашка была одним из самых выигрышных предметов женского туалета. Жаль, что нельзя надевать такие вещи на вечера. В них ведь нет ничего непристойного. Миллисент Хардвик сфотографировалась в своей ночной рубашке, и никто даже не догадался, что это такое.

Да, она напишет Кумбу коротенькую записку. Она знала, что мадам Элен согласилась сшить ей великолепный траурный гардероб лишь потому, что... Созданные ею наряды были совершенно неповторимы: тонкие, воздушные, чёрные, то струящиеся, то облегающие фигуру. Как счастлива была Пёрышко тем утром, когда делала заказ Элен! Завтра, когда она выспится и вновь наступит ясный день, она сумеет придумать, что написать лорду Кумбу. Придётся быть немного осторожной: он не любил, когда его утомляли. Смерть и вдовы могли поначалу слегка наскучить ему. Однажды она слышала, как он сказал, что не желает считать себя благотворительным учреждением. Нельзя было его отпугнуть. Возможно, если он продолжит бывать в доме и станет казаться особенно близким человеком, с поставщиками удастся как-нибудь договориться.

Она чувствовала себя гораздо менее беспомощной и, приготовившись ко сну, выпила ещё немного коньяка. Румянец сошёл с век и нежно-розовым цветом расцвёл на щеках. Забравшись между прохладными простынями и уютно устроившись на подушке, она с наслаждением почувствовала, как нарастает ощущение покоя — покоя. Какое счастье — засыпать!

И тут её потревожили: из сладостной дремоты, уже овладевавшей ею, Пёрышко вырвал долгий, пронзительный, жалобный крик!

Он доносился из детской спальни и в эту минуту показался ей едва ли не страшнее всего, что случилось за день. Он с ужасной ясностью вернул её к действительности. Разумеется, она снова забыла о Робин — а это кричала Робин! Луиза уехала вместе с Эдвардом. Вероятно, перед уходом она предусмотрительно уложила девочку спать. Теперь ребёнок проснулся и кричал. Пёрышко слышала, что у девочки дурной характер, но Луизе каким-то образом, лаской или строгостью, удавалось не давать ей докучать окружающим.

Крики заставили Пёрышко резко сесть на кровати. Их пронзительный звук, разрывавший абсолютное безмолвие пустого дома, вернул все её страхи, и сердце бешено заколотилось.

— Я... я не стану! — запротестовала она, едва не стуча зубами. — Не стану! Не стану!

С самого рождения дочери она ничего для неё не делала, ничего делать не умела и никогда не хотела учиться. Чтобы добраться до ребёнка теперь, пришлось бы выйти в темноту. Газовый рожок, который надо было зажечь, находился как раз у наружной двери спальни Роберта — той самой комнаты! Если она не умрёт от страха, пока будет зажигать газ, то затем придётся почти в темноте пробираться по крутой, кривой узенькой лестнице, ведущей в детские. И всё это время будут раздаваться вопли ужасного маленького существа, от которых чернота и мёрт-

вая тишина нижних комнат станут ещё страшнее: комнаты покажутся ещё более отрезанными от мира и в то же время словно готовыми пробудиться к какому-нибудь новому кошмару.

— Я... я не смогла бы, даже если бы захотела! — дрожащим голосом проговорила она. — Не посмею! Не посмею! Ни за миллион фунтов не пошла бы!

Она снова бросилась на постель, содрогаясь, зарылась с головой под одеяло и прижала к ушам подушки, чтобы не слышать криков.

Крики становились всё настойчивее и пронзительнее. Тихий дом отлично их слышал и словно усиливал. Но до Пёрышка они доходили уже приглушёнными, и под своей мягкой защитой она начала, задыхаясь, оправдываться:

— Даже если бы я пошла, я всё равно не знала бы, что делать. Если к ней никто не подойдёт, она поплачет и уснёт. Это... это просто каприз. О-ох! Какой ужасный вой! Точно... точно заблудшая душа!

Но она не шевельнулась. Только глубже забралась под одеяло и ещё крепче прижала подушку к ушам.

Временами этот крик и вправду походил на плач заблудшей души. Никто никогда не узнает, какой ужас охватывает младенца, который плачет один в темноте. И, возможно, стоит благодарить любых богов, какие только существуют, за то, что сам младенец этого не помнит. Какое страшное горе — внезапно лишиться защиты, когда сама жизнь возможна лишь благодаря чужой заботе! Какая жалкая паника перед чёрной, беспощадной пустотой! Нечленораздельный крик, сколь бы пронзительным он ни был, не способен ни объяснить, ни выразить этого.

Робин знала только Луизу, тепло, еду, сон и пробуждение. А если знала что-то ещё, то пока не сознавала этого. Она уже достигла возраста, когда дети обычно спят всю ночь. Возможно, она и не потревожила бы мать до утра, но предусмотрительная Луиза дала ей детское снотворное. Оно не подошло девочке и разбудило её. Ей было нехорошо, и вокруг стояла темнота. Обычно стоило ей вскрикнуть раз-другой, как Луиза являлась — сонная, несколько раздражённая, но знавшая, что делать. В эту странную ночь привычный крик, одновременно предупреждение и требование, не дал никакого результата.

Никто не пришёл. Неприятное ощущение не проходило, темнота оставалась непроглядной. Крики превратились в вопли, но ничего не изменилось; вопли стали долгими, отчаянными. Ни Луизы, ни света, ни молока. Чернота подступала всё ближе и превращалась во врага, с которым девочка пыталась бороться, бешено колотя маленькими ручками. Ни проблеска, ни шороха, ни звука! Тогда раздался плач заблудшей души — одной, совершенно одной в чёрной мировой пустоте, где не было даже другой заблудшей души. А затем пришли приступы паники, о которых никто не оставил и никогда не оставит свидетельств: ведь если охваченный таким ужасом младенец не умирает в загадочных судорогах, то, вырастая, теряет воспоминания о своём бесформенном прошлом. Разве что необъяснимые кошмары, от которых человек просыпается дрожа, в холодном поту, смутно повторяют давно скрытое переживание.

Что узнала маленькая Робин во тьме, возможно, странным образом узнал и молчаливый дом, откликавшийся эхом на её крики. Но наконец вопли иссякли и сменились рыданиями — страшными маленькими всхлипами, сотрясавшими крошечную грудь и всё детское тельце. Детские рыдания — невыразимая, невероятная вещь. Всхлипы Робин становились всё реже, между ними слышались глубокие судорожные вздохи и захлёбывающиеся звуки. И даже когда на неё снизошёл неестественный, похожий на наркотическое забытьё сон, горькие, безнадёжные, побеждённые рыдания ещё продолжались.

А голова Пёрышка по-прежнему была спрятана под мягкой защитой подушки.

Глава V

Утро выдалось более солнечным, чем обычно бывает в Лондоне, и солнечные лучи проникли в спальню Пёрышка, обнаружив всю её уютную прелесть в кораллово-розовых тонах. Она всегда любила эту комнату и обычно просыпалась здесь с тем чувством роскоши, какое, вероятно, испытывает домашняя кошка, потягиваясь на мягкой подушке, когда рядом уже ждёт блюдечко сливок.

Но сегодня, проснувшись, она не ощутила ни радости от солнечного света, ни привычного наслаждения уютом. Она, правда, спала; однако раз или два, когда подушка соскальзывала с уха, её тревожил доносившийся издалека жалобный вой какого-то маленького существа. Тогда она машинально, почти не сознавая этого, снова прикрывала ухо подушкой. Случалось это лишь через долгие промежутки времени: так уж устроено природой, что измученный младенец, накричавшись, засыпает. Вероятно, Робин проспала почти столько же, сколько её мать.

Глядя на окружавшую её розовую обстановку, Пёрышко наконец, не без напоминания со стороны собственного тела, пришла к какому-то вялому решению.

— Сейчас она спит, — пробормотала она. — Надеюсь, ещё долго не проснётся. Я чувствую слабость. Надо найти что-нибудь поесть — хотя бы печенье.

Она полежала, пытаясь вспомнить, что говорила кухарка о том, что голодать ей не придётся.

— Она сказала, что в кладовой и шкафах кое-что осталось. Может быть, там найдётся сгущённое молоко. Как его разводят? Если она заплачет, я могла бы пойти и дать ей немного. При дневном свете это уже не так ужасно.

Когда Пёрышко поднялась с постели и встала на ноги, её пошатывало. В девичестве у неё не было горничной, так что одеваться самостоятельно она умела, хотя терпеть этого не могла. Впрочем, приступив к туалету, она невольно заинтересовалась им: платье, в котором она ходила накануне, измялось, и она достала другое, совершенно новое. Оно тоже было тонким и мягким, а чёрный цвет удивительно шёл ей. Именно это платье она наденет, когда приедет лорд Кумб, после того как она ему напишет. Глупо, что она не написала раньше, хотя и знала, что после похорон он уехал из города. Письмо ему перешлют.

— Теперь в столовой должно быть совсем светло, — сказала она, стараясь подбодрить себя. — А Тонсон как-то говорила, что внизу солнце заглядывает только в кладовую и кухню, да и то всего на час рано утром. Нужно попасть туда поскорее.

Закончив одеваться и убедившись, что отражение в зеркале способно хотя бы немного поднять ей настроение, Пёрышко открыла дверь спальни. Теперь предстояло обследовать опустевший дом, и от мысли о неизбежности этого предприятия её пробирала дрожь. Она спустилась по узкой лестнице, испуганно покосившись на пустые гостиные, которые, казалось, провожали её пристальными взглядами. В столовой было солнечно. Открыв буфет, она нашла в графинах немного вина, печенье и даже несколько орехов, изюм и апельсины. Она разложила находки на столе, села, немного поела и почувствовала, что дрожь понемногу унимается.

Если бы ей позволили посидеть подольше, переварить съеденное и собраться с мыслями, она, возможно, решила бы, что именно написать лорду Кумбу. Письма давались ей нелегко, и каждую фразу требовалось обдумывать. Но как раз в ту минуту, когда она начала ощущать приятное тепло солнечных лучей, падавших из окна ей на плечи, её едва не подбросил со стула знакомый слабый плач, похожий на мяуканье котёнка и снова спускавшийся откуда-то сверху по лестнице.

— Только я начинаю — в ту самую минуту, когда я наконец хоть немного успокаиваюсь и пытаюсь подумать, — она опять принимается за своё! — воскликнула Пёрышко. — Это хуже всего на свете!

Крупные, точно хрустальные, слёзы покатились по её щекам и упали на полированную столешницу.

— Полагаю, если я не дам ей еды, она умрёт от голода — и виноватой объявят меня! Люди будут говорить обо мне гадости. А ведь мне самой нечего есть.

Во всяком случае, прежде чем писать Кумбу, нужно было как-то прекратить этот плач. Придётся спуститься в кладовую и поискать сгущённое молоко. У этого создания ещё не было зубов, но, возможно, оно сумеет размять дёснами печенье или несколько изюминок. А если удастся заставить его проглотить немного портвейна, оно, быть может, заснёт.

Когда Пёрышко добралась до кухни и кладовой, солнце как раз наносило им свой короткий утренний визит. Но несколько тараканов бросились врассыпную у неё из-под ног, и она издала короткий истерический вскрик. Сгущённое молоко, однако, нашлось, а в чайнике оставалось немного тёплой воды, потому что огонь в плите ещё не совсем погас. Она кое-как развела молоко и наполнила бутылочку, которой вообще не следовало находиться внизу: Луиза принесла её сюда и оставила после одного из нежных свиданий с Эдвардом.

Поскольку всё найденное невозможно было унести в руках, Пёрышко поставила бутылочку, печенье и остатки холодной ветчины на поднос. Чувство оскорблённого достоинства и отчаяние едва не заставили её разрыдаться.

— Я совсем как прислуга — таскаю подносы наверх! — всхлипывала она. — Я… я могла бы быть Эдвардом… или… или Луизой.

Горе её ещё усилилось, когда в столовой она добавила к своей ноше портвейн, орехи, изюм и миндальное печенье: всё это, как ей казалось, могло каким-то образом дополнить младенческое питание и навеять сон. Конечно, уверенности у неё не было, но она знала, что младенцы любят что-нибудь сосать и обожают сладкое.

Младенец, которого оставили без присмотра, предоставив ему кричать до изнеможения, засыпать и, проснувшись, снова кричать до изнеможения, вовсе не являет недоброжелательному наблюдателю той цветущей, нежной красоты, которой принято восхищаться в детях. Когда Пёрышко внесла поднос в детскую спальню и увидела беспорядочную колыбель, где лежало её дитя, вид девочки показался ей ужасным. Лицо Робин было искажено, глаза почти закрылись. Пёрышко дрожала всем телом, поднося бутылочку к её рту и наблюдая, с какой отчаянной жадностью маленькие ручки вцепились в неё. Девочка уже умела хватать — и теперь хватала изо всех сил, сосала яростно, с голодным неистовством, хотя поначалу раз или два ей всё-таки приходилось останавливаться, чтобы выплеснуть остатки сорвавшегося крика.

До сих пор Пёрышко видела дочь только белоснежным, пушистым и благоухающим созданием на руках у Луизы или в детской коляске. Робин была на редкость живым ребёнком с блестящими глазами, и прохожие невольно оглядывались на неё.

— Кто же будет её купать? — запричитала Пёрышко. — Кто станет переодевать? Ведь кто-то должен! Может быть, для этого можно нанять приходящую женщину? Кухарка говорила, что можно нанять женщину на день.

Тут она вспомнила, что прислугу находят через агентства. Но где находятся эти агентства? И даже женщина, приходящая на день, потребует жалованья и еды.

И тут зазвонил колокольчик у парадной двери.

Что делать? Что же делать? Спуститься и самой открыть дверь, чтобы все узнали, что она осталась без прислуги? Или позволить посетителю звонить, пока ему не надоест и он не уйдёт? Положение её было поистине безвыходным, хотя Робин уже перестала плакать и, прижимая бутылочку к груди, жадно насыщалась. Пусть уходят — пусть! Но тут её осенила безумная мысль: а вдруг это и есть Нечто — то самое Нечто, которое непременно должно произойти, когда дела становятся совсем плохи? И вдруг оно уже пришло, а дом кажется пустым? Она не пошла вниз по лестнице, а побежала. Сердце колотилось; добравшись до двери, она запыхалась и, открыв её, так и застыла на пороге, тяжело дыша.

На ступенях стояли незнакомые люди. Оба были молоды, весьма приятной наружности и безупречно одеты — мужчина и женщина. Мужчина вынул из бумажника листок и протянул ей с любезной, извиняющейся учтивостью.

— Надеюсь, мы пришли не настолько рано, чтобы потревожить вас, — сказал он. — Мы подождали до одиннадцати, но в половине двенадцатого нам нужно успеть на поезд. Это разрешение на осмотр дома от фирмы «Карсон и Бейл».

Последнее он добавил потому, что Пёрышко не сводила глаз с бумажки.

«Карсон и Бейл» были агентами, через которых они сняли дом. Именно сборщика платежей этой фирмы Роберт встретил на пороге и обругал за два дня до того, как заболел. Значит, дом уже сдают кому-то другому, прямо у неё над головой, а её саму вышвырнут на улицу?

Молодые люди, обнаружив перед собой прелестное создание в изысканном трауре, почувствовали себя до ужаса неловко. Очевидно, это была та самая вдова, о которой говорил Карсон. Но почему она сама открывает дверь? И почему смотрит так, словно ничего не понимает? Молодой человек начал сердиться на «Карсон и Бейл».

— Прошу прощения! Мне ужасно жаль! Боюсь, нам не следовало приходить, — запротестовал он. — Агентам полагалось бы лучше разбираться в обстоятельствах. Они сказали, что вы немедленно освобождаете дом, и мы побоялись, как бы его не снял кто-нибудь другой.

Пёрышко держала разрешение на осмотр и беспомощно смотрела на них.

— Здесь… нет… нет прислуги, чтобы показать вам дом, — произнесла она. — Если бы вы могли подождать… несколько дней… быть может…

Она была так прекрасна, а воздушное чёрное творение мадам Элен само по себе так взывало к сочувствию, что доброжелательные молодые незнакомцы сразу отступили.

— О, разумеется, разумеется! Простите нас, пожалуйста! «Карсон и Бейл» не должны были… Нам так жаль. Всего доброго, всего доброго!

Смущённые, полные сочувствия и учтивости, они поспешно удалились — почти убежали.

Закрыв за ними дверь, Пёрышко осталась стоять, дрожа.

«Меня выгонят из дома! Мне придётся жить на улице! — думала она. — Но где же я буду хранить свои платья, если стану жить на улице?»

Даже она понимала, что мыслит по-идиотски. Разумеется, если у человека всё отберут и продадут, у него вообще не останется платьев, а значит, и шкафы, комоды и гардеробные уже не будут иметь значения. Осознание того, что почти ни за одну вещь в доме не заплачено, потрясло её до ужаса. Шатаясь, она поднялась в первую гостиную, где стоял хорошенький, но нелепый маленький письменный столик в технике буль.

Опустившись перед ним на стул и придвинув лист почтовой бумаги, она почувствовала себя ещё более беспомощной. Мысли никак не желали складываться в связное целое; она не представляла, что должна написать Кумбу. Вернее, казалось, у неё вообще не осталось мыслей. Она могла только вспоминать всё, что случилось, и обнаружила, что ничего другого написать не способна. Словно больше ничего на свете не существовало.

«Дорогой лорд Кумб, — дрожащей рукой вывела она на листке. — Дом совсем пуст. Прислуга ушла. У меня нет денег. И еды тоже нет. Меня собираются выгнать на улицу, а ребёнок плачет, потому что голоден».

Тут она остановилась, понимая, что писать следовало вовсе не так. Но, остановившись и глядя на написанные слова, она сама принялась жалобно выть — почти как Робин, которая плакала в темноте, когда мать не хотела её слышать и не шла к ней. Это было письмо нищенки — нищенки! Она сообщала, что у неё нет денег и еды, что её выгонят за неуплаченную аренду. И что ребёнок плачет, потому что умирает от голода!

— Это письмо нищенки — самой настоящей нищенки! — громко вскрикнула она в пустой комнате. — И всё это пра-а-авда!

В её плаче было не меньше безнадёжности, чем в плаче Робин. Она уронила голову на столик, отделанный в технике буль, и оставила её лежать там.

Однако даже этого ей не позволили. В следующую минуту до её испуганного слуха донёсся новый звонок у входной двери, прокатившийся эхом по всему дому, а вслед за ним — два резких металлических удара в нарядный латунный дверной молоток. Лишь потому, что она совершенно растерялась и не знала, как поступить иначе, Пёрышко поднялась и снова поплелась вниз по лестнице.

Когда она открыла дверь, на пороге стоял лорд Кумб — само воплощение безупречной соразмерности облика, безукоризненной элегантности и совершенного самообладания.

Глава VI

Если лорд Кумб и собирался что-то сказать, то, увидев её, сразу передумал. Он просто вошёл и закрыл за собой дверь. Необычайные жизненные обстоятельства отточили его врождённую наблюдательность и способность мгновенно принимать решения.

Будь перед ним женщина иного склада, он избавил бы и её, и себя от тягостной сцены и умело направил бы разговор к тому, чтобы они могли встретиться на обычной, приличествующей им почве. Но когда прелестная женщина, к делам которой вы не имеете ни малейшего отношения, хозяйка изящного дома, где всё до сих пор отвечало последнему слову светской моды, вдруг сама открывает входную дверь — без всякого объяснения отсутствия лакея — и предстаёт перед гостем на грани истерики, становится ясно: действовать надо немедленно.

Но Пёрышко не дала ему ни секунды на размышление. Она была уже не на грани истерики — она перешагнула эту грань. И вот он здесь! О, он здесь! Она упала на колени и в самом деле обхватила его безукоризненно одетые ноги.

— О, лорд Кумб! Лорд Кумб! Лорд Кумб! — повторила она трижды: сейчас для неё существовала только одна мысль.

Он не стал вырываться из её объятий, но совершенно определённо освободился от них.

— Не нужно становиться на колени, миссис Лоулесс, — сказал он. — Может быть, пройдём в гостиную?

— Я… писала вам. Я умираю с голоду… Но когда написала это, мне показалось, что получается ужасная глупость. А ведь это правда! — Отрывистые слова звучали столь же нелепо, как показались ей самой на бумаге.

— Поднимемся в гостиную, и вы объясните мне, что именно хотите сказать, — предложил он и заставил её отпустить его и встать.

С годами он освободился от стольких слабостей и связанных с ними волнений, что считал себя человеком, до которого уже ничто не может добраться. Он был немолод и слишком хорошо знал, какими неприятностями оборачиваются некоторые поступки, поэтому ловко избегал даже на вид безобидных обстоятельств, способных впоследствии причинить беспокойство. И всё же, следуя за миссис Гарет-Лоулесс и наблюдая, как она, словно наказанный ребёнок, спотыкается на лестнице, он почувствовал, что опасно близок к жалости — чувству, которое не желал испытывать к людям. Эта жалость была чем-то большим, чем возмущение при мысли о том, что столь прекрасное, поверхностное и хрупкое создание угодило под огромные колёса Жизни.

Он знал, о чём намеревался с ней говорить, но совершенно не представлял, в каких обстоятельствах она действительно оказалась. Разумеется, многие догадывались, что её муж жил на пределе средств, привык к долгам и настойчивым требованиям кредиторов. Но когда прелестное существо обхватывает ваши колени и говорит о «голоде» — на этой самой улице в Мейфэре, — невольно задаёшься вопросом, в какую историю попал. Ни сама Пёрышко, ни вообще кто-либо на свете не знал, что у лорда была особая причина как будто допускать её в свой круг, что именно поэтому его со временем стали считать постоянным посетителем узкого дома и

что по той же причине он порой наблюдал за хозяйкой с серьёзным интересом, порой с раздражением, а порой с совершенно непроницаемым лицом. Причина эта существовала. Только она и привела его сегодня к её порогу; только она помешала ему с большей решительностью освободиться от нелепых объятий, когда он обнаружил себя в положении сурового родителя из мелодрамы, которому вцепились в колени.

В знакомой обстановке гостиной пепельно-золотистые волосы Пёрышка и воздушное чёрное платье придавали её красоте столь поразительную выразительность, что Кумб откровенно признал про себя: она обладала достоинствами, способными изменить решение большинства мужчин в большинстве обстоятельств.

И сама Пёрышко, увидев его на привычном фоне, услышав его голос, заметив, как он сел в кресло, уловив едва различимый оттенок его костюма и почти незаметный цветной штрих, словно даже не принадлежавший одежде, вспомнила дни, которые теперь казались безвозвратно ушедшими, — и снова заплакала.

Он встретил её слёзы с деликатным отсутствием всякой театральности.

— Не надо, миссис Лоулесс, — сказал он. — Иначе я тоже разрыдаюсь. Я ведь существо чувствительное.

— Ах, называйте меня Пёрышком, а не миссис Лоулесс! — взмолилась она. — Вы ведь иногда называли меня Пёрышком.

— Буду называть и сейчас, если вы перестанете плакать, — ответил он. — Это очаровательное имя.

— Мне кажется, больше никто никогда не назовёт меня так, — содрогнулась она, пытаясь осушить глаза. — Всё кончено!

— Что именно кончено?

— Вот это! — Она безнадёжно обвела взглядом две крошечные комнаты, набитые безделушками и всякой чепухой. — Приёмы, веселье… всё на свете! Сегодня я съела только немного печенья и изюма… А домовладелец собирается выставить меня на улицу.

Поверить в то, что она говорит чистую правду, было почти невозможно — до того нелепо всё звучало. И всё же… Посмотрев на неё секунду, он повторил свой вопрос, заданный внизу:

— Объясните мне, пожалуйста, что именно произошло.

Он сидел неподвижно и слушал, пока она изливала перед ним всё накопившееся. Слушая, он осознавал, что особую жутковатость происходящему придавало простое будничное обстоятельство: они находились в узком доме с кремовым фасадом, между особняком знатной дамы с одной стороны и роскошным жилищем миллионера — с другой.

Не было нужды сгущать краски и придавать рассказу оттенок отчаяния. Любая попытка Пёрышка сделать это только ослабила бы впечатление от неприкрытых фактов. Фактов было вполне достаточно: в своей обыденной неотвратимости они говорили сами за себя. Бледная, охваченная паникой, совершенно утратившая достоинство Пёрышко излагала случившееся с ясностью, которая и без её помощи обладала подлинной драматической силой. И это несмотря на то, что её мысли метались из стороны в сторону и она то и дело приплетала подробности и обрывки событий, не связанные между собой. Уследить за ней мог только ум, способный мгновенно отбирать главное и отбрасывать лишнее. Кумб внимательно наблюдал за ней. За её муками не стояли ни скорбное одиночество молодой вдовы, ни разбитое сердце. И задним планом её страданий, и передним была она сама. Сильное красивое тело, распростёртое на постели в комнате, о которой она вспоминала с ужасом, белое застывшее лицо, прежде привлекательное, а теперь изменившееся так, что она не могла вынести воспоминания о нём, — всё это вызывало в ней жалость лишь постольку, поскольку Роберт невероятным и противоестественным образом подвёл её: умер и оставил одни неоплаченные счета. По мере того как она сообщала всё новые подробности, эта правда делала положение ещё более жалким и безысходно грязным. Счета накапливались с тех пор, как супруги поселились в узком доме; постав-

щиков водили за нос, обещания подкрепляли ловкими уловками, искусно выдуманными объяснениями и ложью, из-за которых ни муж, ни жена не испытывали угрызений совести, а только смеялись. Кумб видел всю картину целиком и понимал, что сама Пёрышко даже не сознаёт всего, о чём рассказывает. Он представлял, как росло давление кредиторов, как их возмущали разоблачавшиеся хитрости и как постепенно крепла решимость покончить с этим делом единственным возможным способом. Всё дошло до крайности ещё до болезни Роберта. Пёрышко сама слышала о бурных объяснениях и видела письма с угрозами, но не верила, что за ними стоит что-то серьёзное. Раз уж всё так долго сходило с рук, значит, думала она, так будет продолжаться и дальше. Особенно настойчиво угрожали из-за платы за дом и мебели, за которую так и не расплатились. Роберт надеялся, что, возможно, сумеет «кое-что вытянуть из Лодора: вряд ли тому понравится иметь родственника, которого выставили на улицу!»

— Он должен был что-нибудь сделать, — жаловалась Пёрышко. — Ведь сам Роберт стал бы лордом Лодором, если бы его дядя умер прежде, чем обзавёлся всеми этими отвратительными детьми.

Она не знала, как часто Кумб удерживался от замечаний в её присутствии — хотя изредка позволял себе не сдерживаться. На этот раз он не удержался от простого замечания:

— Но дядя отличается отменным здоровьем и дети у него есть: шесть крепких мальчиков и одна крепкая девочка. По-видимому, родственные чувства вышли из моды.

Пока она бессвязно продолжала свой рассказ, Кумбу казалось, будто его самого втащили в спальню креветочно-розового цвета и он стоит там свидетелем сцены, когда лакей за дверью «не знал», куда ушла Тонсон. На мгновение он почти ощутил аромат, который непременно исходил от драпировок и гардероба. Он увидел, как кухарка кладёт счётные книги на маленький столик, услышал её слова и понял её. Увидел и Пёрышко у окна, затаившую дыхание при виде двух кэбов с сундуками прислуги на крышах, и самих слуг — одетых прилично, но уже не как прислуга, спокойно уезжающих прочь без непрактичных угрызений совести. Он понимал и их, прекрасно зная, почему в современных отношениях хозяев и прислуги угрызения совести не играют никакой роли. Да и почему должны?

Когда Пёрышко дошла до необходимости упомянуть Робин, какое-то счастливое воспоминание о прежних предостережениях Элис внезапно подсказало ей, что некоторые подробности лучше опустить.

— Сначала она немного плакала, — сказала Пёрышко, — но потом заснула. Я была рада, потому что боялась идти к ней в темноте.

— Она была в темноте?

— Кажется, да. Может быть, Луиза приучила её спать без света. Когда я утром принесла ей сгущённого молока, света не было. А дать ей я могла только с-сгущённого молока.

Она расплакалась и стала задыхаться, описывая своё путешествие в нижние помещения и тараканов, разбегавшихся перед ней по щелям.

— Мне нужна няня! Непременно нужна! — почти всхлипнула она. — Кто-то должен переодевать её и купать!

— А вы не можете? — спросил Кумб.

— Я?! — Она выронила платок. — Но как… как я могу?

— Не знаю, — ответил он и с отстранённым изяществом поднял платок.

Именно Робин стала для Пёрышка последней каплей.

Кумбу показалось, что она вот-вот снова бросится на него. Она схватила его за руку, и её глаза цвета васильков смотрели совершенно безумно.

— Разве вы не видите, в каком я положении? Что у меня ничего нет и никого нет… Разве не видите?

— Вижу, — ответил он. — Вы совершенно правы. Ничего и никого. Я сам был у Лодора.

— Вы говорили с ним?

— Вчера. Именно поэтому я сегодня пришёл. Он не желает ни видеть вас, ни получать от вас писем. Говорит, что слишком хорошо знает, чем начинаются такие истории. Возможно, родственные чувства нынче не в такой чести, как прежде, но вы, вероятно, помните, что ваш муж привёл его в бешенство ещё много лет назад. К тому же положение Англии теперь не столь надёжно, как когда-то, а у него семья. Он согласен выплачивать вам сто фунтов в год — и ни пенни больше.

— Сто фунтов в год! — выдохнула Пёрышко. С её нежных плеч ниспадали прозрачные чёрные рукава, похожие на шарфы. Она подняла один из них, расправив, словно крыло ночной бабочки. — Одно это стоило сорок фунтов, — сказала она едва слышно. — Хорошая няня стоит сорок! А кухарка… лакей… горничная… кучер… и карета… Я даже не знаю, сколько всё это стоит. О-о!

Она бессильно опустилась на диван и уткнулась лицом в подушку — тонкая, изящная, воплощённое отчаяние.

В сущности, этим жестом она отдала себя в его руки. Он и увидел, и почувствовал это, и задумался. У неё не было ни предложений, ни запасного выхода. Она просто лежала перед ним.

— Положение совершенно невероятное, — произнёс он ровным, негромким голосом, словно размышляя вслух, — но оно вполне реально. И поразительно просто. На улице в Мейфэре женщина с ребёнком могут… — Он на секунду запнулся, и из подушки донеслось протяжное слово:

— Умереть с голоду!

Он чуть шевельнулся и продолжил:

— Поскольку счета не оплачены, торговцы не будут присылать продукты. Прислуга не останется в доме, где её не кормят и не платят жалованья. Ни один домовладелец не позволит жильцу занимать его собственность без платы. Это может показаться бесчеловечным, но это всего лишь человеческая природа.

Подушка, в которую Пёрышко уткнулась лицом, хранила слабый запах сигар Роберта. Этот аромат напомнил ей о том, что муж говорил — совершенно спокойно — о лорде Кумбе и других мужчинах. Роберт не был ни пуританином, ни человеком, склонным кого-либо осуждать. Ей вновь представилось, как она ползает по полу спальни, как её окружает тишина и темнота, сквозь которую она не решилась пробраться к Робин.

Только не ещё одна такая ночь! Нет! Нет!

— Вам следует уехать на Джерси, к отцу и матери, — сказал Кумб. — В родительском доме сто фунтов в год будут хорошим подспорьем.

Тогда она выпрямилась, и на её прелестном маленьком лице появилось нечто, чего он никогда прежде не видел: настоящая решимость.

— Я слышала, — сказала она, — о бедных девушках, которых голод вынуждал… вынуждал выходить на улицу. Я… я отправлюсь куда угодно, только не обратно туда.

— Куда угодно? — повторил он. На его лице появилось — вернее, отказалось появиться — выражение столь же новое, как и то, что он только что заметил у неё.

— Куда угодно! — вскричала она и сделала именно то, чего он опасался несколько минут назад: упала к его ногам и обхватила колени. Она вцепилась в него и зарыдала; её красивые волосы растрепались и рассыпались в беспорядке — диком, но очаровательном.

— О, лорд Кумб! О, лорд Кумб! О, лорд Кумб! — повторяла она, как прежде в прихожей.

Он поднялся и попытался освободиться, как делал это раньше. На сей раз успех был меньше: она не отпускала его. Сцены были ему глубоко отвратительны.

— Миссис Лоулесс… Пёрышко… прошу вас, встаньте, — сказал он.

Но она дошла до состояния, когда ей было безразлично, что произойдёт, лишь бы удержать его. Он джентльмен, у него есть всё на свете. Какое это имеет значение?

— У меня никого нет, кроме вас… А вы, кажется, всегда ко мне хорошо относились. Я сделаю всё, что угодно… для любого, кто согласится обо мне позаботиться. Вы мне всегда очень нравились… И я вас забавляла, правда? Вам ведь нравилось бывать у нас.

В её утончённой, обезумевшей красоте было что-то мучительно трогательное. И где-то в самых отдалённых глубинах своего существа он содрогнулся от понимания, что она действительно готова на всё ради любого мужчины, который возьмёт её под свою защиту. Это подействовало на него так, как ничто другое не могло бы подействовать. Одновременно перед ним возникла фантастическая, тонко-ироническая картина: Иосиф и жена Потифара. Представить себя Иосифом было неприятно для его сложного ума. При всей своей современной трагичности происходящее было ещё и слегка смешным.

Тут проснулась Робин и снова закричала. После долгого сна и новых неудобств её голос окреп и теперь звенел на весь дом. Что именно прибавил этот крик к происходившему, сам Кумб сумел бы объяснить лишь много времени спустя. Но прибавил он нечто необыкновенно сильное, властно побуждавшее к действию.

— Слышите! — задыхалась Пёрышко. — Она опять начала! А пойти к ней некому.

— Встаньте, миссис Лоулесс, — сказал он. — Правильно ли я понимаю, что вы согласны предоставить мне устроить ваши дела?

Он помог ей подняться.

— Вы хотите сказать… правда? — пролепетала она. — Вы… вы…?

Её поднятые к нему глаза были подобны глазам юного ангела, полным прозрачных слёз, которые, как у ребёнка, катились по щекам. Она молитвенно сложила изящные руки. Он на мгновение замер, мыслями унесся далеко и забыл, где находится. И потому маленькую дурочку покинула её неглубокая осторожность.

— Если бы вы были… человеком, который женится… — глупо проговорила она почти шёпотом.

Он сразу пришёл в себя.

— Я не таков, — произнёс он с окончательностью хирургического разреза.

В ужас её повергли не столько слова, сколько нечто, скрытое за ними и выраженное с беспощадной краткостью.

— Я… я знаю! — захныкала она. — Я только сказала: если бы!

— Даже если бы я был таким человеком, в данном случае это ничего бы не изменило. — Он видел, с какой скользкой глупостью имеет дело и во что она может превратиться, если оставить хоть малейшую лазейку. — Здесь не должно быть никаких недоразумений.

От испуга она на миг увидела его яснее, чем когда-либо прежде, и её охватил страшный страх, что она совершила роковую ошибку.

— Не будет, — выдохнула она. — Я всегда знала. Никаких недоразумений не будет.

— Вы понимаете, о чём просите меня? — спросил он.

— Да, да… Я ведь не девочка, я была замужем. Я не вернусь домой. Я не могу голодать или жить в ужасных меблированных комнатах. Кто-нибудь должен меня спасти!

— Вы понимаете, что скажут люди? — Его ровный голос стал немного тише.

— Мне этого в лицо не скажут, — ответила она почти исступлённо. — На самом деле всем всё равно.

Он перестал выглядеть серьёзным. На лице появилась лёгкая отстранённая улыбка, хорошо знакомая его светскому кругу.

— Нет, на самом деле им всё равно, — согласился он. — Однако я предпочёл бы заранее знать, будет ли вам самой всё равно. Вы льстите мне, давая понять, что это так.

Он знал: протяни он руку — она упала бы ему на грудь и зарыдала. Но сейчас ему не хотелось протягивать руку. Он лишь слегка коснулся её руки.

— Давайте сядем и всё обсудим, — предложил он.

Не успел он сесть, как к дверям подъехал и остановился кэб. Услышав это, Кумб подошёл к окну и увидел, как из экипажа вышел плотный мужчина делового вида в сопровождении помощника. Раздался громкий, повелительный звонок, за ним столь же повелительный стук дверного молотка. Потом всё повторилось. Пёрышко подбежала к окну, увидела толстяка и вцепилась в рукав Кумба.

— Это агент, через которого мы сняли дом. Мы всегда велели говорить, что нас нет. Это либо Карсон, либо Бейл. Не знаю, кто именно.

Кумб направился к лестнице.

— Вы не можете открыть дверь! — пронзительно вскрикнула она.

— Без сомнения, он пришёл с намерением открыть её сам, — ответил лорд и неторопливо спустился по узкой лестнице.

Посетитель действительно подготовился. К тому времени, как Кумб оказался в прихожей, ключ уже вставили в замок и повернули. Дверь распахнулась, впуская Карсона — или Бейла, — который вошёл с видом рассерженной решимости, а следом за ним — его молодого помощника.

О присутствии главы дома Кумб всегда говорили как о чём-то неуловимо внушительном. Несколько столетий довольно тщательного подбора браков привели к тому, что он, казалось, олицетворял целый мир, ничего не высказывая прямо. Человек, которому никогда не приходилось объясняться или оправдываться, неизбежно производит впечатление полной уверенности в себе. Вся осанка Кумба словно требовала объяснений от других.

Карсон — или Бейл — несомненно рассчитывал увидеть испуганного слугу, который начнёт лепетать очевидную ложь. Вместо этого перед ним стоял высокий худощавый джентльмен, которого невозможно было спутать ни с кем другим, даже будь он одет совершенно иначе. Он столь явно ожидал извинений, что Карсон — или Бейл — сам принялся заикаться, не успев даже убрать из голоса начальственные нотки. Кумба чрезвычайно раздражило бы известие, что однажды в Сандауне этому человеку указали на него и на одно примечательное пальто и что именно благодаря пальто агент смутно его узнал.

— Я… прошу прощения, — начал он.

— Разумеется, — произнёс Кумб.

— Сегодня утром приходили люди осмотреть дом. У них было наше разрешение. Их прогнали, милорд, и теперь они отказываются возвращаться. Арендная плата не вносилась с первого полугодия. Теперь даже некому делать вид, будто её собираются внести. Пришлось принять меры.

— Разумеется, — повторил Кумб. — Не угодно ли вам пройти в столовую?

Он провёл обоих в комнату и указал на стулья, но ни агент, ни его помощник не были достаточно спокойны, чтобы сесть.

Кумб остался стоять и коротко объяснился:

— Я вполне понимаю вас. Вы действуете в пределах своих прав. Миссис Гарет-Лоулесс, естественно, сейчас не в состоянии заниматься делами. Пока что я, как друг её покойного мужа, улажу всё за неё. Я лорд Кумб. Она не желает освобождать дом. Не присылайте больше возможных жильцов. Через час зайдите в Кумб-хаус, и я выпишу вам чек.

Последовало несколько неловких минут, заполненных извинениями, после чего входная дверь открылась и закрылась, кэб со звоном уехал, а Кумб вернулся в гостиную. Робин всё ещё кричала.

— Ей нужно ещё сгущённого молока, — сказал он. — Не бойтесь. Идите и дайте ей. Я знаю одну пожилую женщину, которая умеет обращаться с детьми. Несколько лет назад она работала няней. Я немедленно пришлю её сюда. Будьте добры, передайте мне счётные книги. Моя экономка пришлёт вам прислугу. Торговцы снова будут принимать заказы.

Пёрышко смотрела на него не отрываясь.

— П-правда? — заикалась она. — И всё… всё…?

— Да, всё, — ответил он. — Не бойтесь. Поднимитесь наверх и постарайтесь её успокоить. Мне пора. Никогда не слышал, чтобы какое-нибудь создание вопило с такой яростью.

Она повернулась и направилась ко второму лестничному пролёту с несколько ошеломлённым видом. Она пережила поистине страшный кризис и теперь была оглушена случившимся. Он заставлял её чувствовать себя именно так. Она никогда ни на миг не понимала его и не понимала теперь — впрочем, она вообще не понимала людей, а вся ситуация была для неё совершенно новой. Если бы её не прижали к стене, она соблюдала бы приличия со всем усердием, на какое была способна.

Кумб подозвал кэб и поехал домой, размышляя о многом и выглядя ещё более отрешённым, чем обычно. Он заметил выражение лица низенького толстого агента, когда тот садился в экипаж, и теперь мысленно перебирал всё, что ему было известно о взглядах деловых людей: что именно подумал бы такой человек и что пристойно скрыл бы за деловым выражением лица, если бы Кумб подробно объяснил, что до сих пор — именно в этом деле — он совершенно ни в чём не повинен.

Глава VII

С тех пор узкий фасад дома ничем не отличался от того, к чему привыкли жители тесной фешенебельной улицы и прохожие. Те, кто ожидал в один прекрасный день увидеть на видном месте объявления «Продажа с аукциона. Изящная современная мебель», испытывали смутное недоумение и даже удивление: подобных объявлений не появилось нигде, даже в самом неприметном уголке. И к дверям дома не подъезжали — ни сразу, ни спустя несколько недель — огромные тяжёлые фургоны для перевозки мебели, после которых остаются мусор и беспорядок, а последним прощальным знаком служит надпись «Сдаётся» в окне.

Напротив, явился цветочник и заново украсил оконные ящики превосходно подобранными свежими цветами; по лестнице, ведущей в цокольный этаж, стали подниматься и спускаться новые слуги, ещё более безупречные, чем прежние; молодой лакей, ничуть не уступавший щеголеватому Эдварду, открывал парадную дверь и провожал миссис Гарет-Лоулесс к её безукоризненной маленькой карете. Торговцы исправно являлись каждый день и держались с подобострастным почтением. Очевидно, смерть мистера Гарета-Лоулесса вовсе не привела к распаду домашнего хозяйства.

Когда стало совершенно ясно, что дом не пришёл в упадок, его постоянные посетители понемногу вернулись, причём с таким видом, словно никогда и не переставали бывать здесь. В конце концов, у них имелись вполне естественные причины из деликатности не посещать дом, где случилось несчастье, и не тревожить убитую горем вдову, чьё страдание было бы неприлично нарушать. Как и сама Пёрышко прекрасно понимала, её близкий круг состоял не из людей, способных легко приспособиться к совершенно изменившимся обстоятельствам. Если вы танцуете на туго натянутом канате и канат внезапно убирают, что вам остаётся делать? Продолжать танец невозможно, пока его не натянут снова.

Однако теперь канат, по всей видимости, был закреплён совершенно надёжно, и танцы вскоре возобновились. Траурные наряды Пёрышка, удивительным образом менявшие оттенок от месяца к месяцу, приводили зрителей в восторг. Мадам Элен одевала её как звезду, сияющую сквозь постепенно рассеивающиеся облака. Её знакомые с тайной насмешливой заинтересованностью наблюдали, как один за другим исчезали тончайшие покровы печали.

— Её нарядам цены нет, — добродушно заметили однажды в её собственной гостиной. — Откуда она их берёт? Только представьте себе, чтобы Лодор оплачивал эти счета!

— Она получает их у Элен, — произнёс высокий худощавый молодой человек с довольно привлекательным узким лицом и тёмными глазами, глядя сквозь пенсне. — Но я бы не смог.

В обществе, где развлечения служат, так сказать, главным смыслом существования и следуют одно за другим с головокружительной быстротой, вопросы хорошего вкуса не принято обсуждать слишком долго. В любой гостиной можно было сказать всё что угодно, лишь бы сказанное оказалось достаточно забавным и заставило рассмеяться хоть кого-нибудь, если уж не всех присутствующих. Пёрышко и прежде умела смешить людей именно таким способом. Те, кем она особенно восхищалась, беспрестанно отпускали дерзкие намёки и ехидные замечания, а годы вынужденного прозябания на острове Джерси пробудили в ней почти болезненное желание ни в чём от них не отставать. Обычно ей это удавалось: сама природа наградила её манерами хорошенькой глупенькой девочки, не сознающей, насколько далеко она заходит. Её слова не раз встречали взрывами хохота. Впервые она на мгновение усомнилась в своём искусстве, когда однажды заметила, что Кумб смотрит на неё с выражением, которое она — всего на одну секунду — могла бы принять за ужас, если бы не была так уверена, что этого просто не может быть. Конечно же, то было нечто иное — одна из тех странностей, которых никто в нём не понимал.

Когда последние лёгкие покровы сумрачного траура рассеялись, а натянутый канат, убедив всех в своей прочности, сделался надёжной опорой, Пёрышко на собственных многолюдных вечеринках и на ещё более пышных приёмах у знакомых уже не могла совсем не догадываться, что даже люди, относившиеся к ней с некоторой симпатией, обменивались между собой более или менее остроумными замечаниями по поводу её поправившихся обстоятельств. А обстоятельства и впрямь поправились разительно. Счета оплачивались, торговцы были учтивы, слуги почтительны; больше не приходилось выдумывать оправдания и лгать. Она и Роберт всегда сторонились скучных, придирчивых людей и потому не водили близкого знакомства с блюстителями приличий, которые могли бы перестать посещать её дом, осуждая происходящее. Так что в кругу её гостей не образовалось никаких пробелов. Те, кто привык развлекаться у неё, с прежней готовностью возобновили свои развлечения.

И всё же оставалось одно воспоминание, которое никогда не покидало её окончательно, — что, пожалуй, было странно при той лёгкости, с какой обычно стирались впечатления из её памяти. Даже когда она старалась загнать его так далеко в глубину сознания, чтобы можно было считать его почти забытым, оно находило способ вновь возникнуть перед глазами. То было воспоминание об опустевшем доме — о пустоте, поразившей её до глубины души, когда она отвернулась от окна спальни, проводив взглядом слуг, уезжавших в наёмных экипажах. И ещё — о последовавших часах, о ночи, когда ни в одной комнате не было ни души, никто не поднимался и не спускался по лестнице, всё казалось тёмным и гулким. Только в детской, где спала Робин, раздавались её крики, а в собственной спальне Пёрышко, скорчившись под одеялом, натягивала на голову подушку. Но хотя стереть эту картину из памяти не удавалось, она лишь усиливала чувство облегчения: ведь Пёрышко так благополучно выскользнула из-под колёс судьбы.

— Иногда, — простодушно призналась она Кумбу, — когда я в чудесный день еду по парку, вокруг полно народу, а платья дам похожи на цветочные клумбы, я нарочно вспоминаю ту ночь. Тогда всё нынешнее кажется ещё прекраснее.

Пожилая женщина, в молодости служившая няней, которую лорд Кумб прислал временно заменить Луизу, недолго оставалась при Робин. Для дома на надлежащей стороне надлежащей улицы она была недостаточно молода и недостаточно элегантна. Пёрышко подыскала молодую особу, выглядевшую именно так, как следовало выглядеть няне, катившей детскую коляску вокруг сквера.

Сквер, от которого отходила та самая надлежащая улица, и сад посреди него, куда допускали только избранных обладателей личного ключа, кухня и комната прислуги в подвальном этаже, да две детские на самом верху дома — вот и весь мир, который на протяжении нескольких лет знала маленькая Робин. Когда она научилась ходить по улице, её водили за руку по

тем же дорожкам, по которым прежде ежедневно возили в коляске. Первое её отчётливое воспоминание было о том, как она стояла на гравийной дорожке в саду сквера и наблюдала за ссорившимися воробьями, пока её няня Эндрюс сидела на скамейке с другой няней и вполголоса разговаривала. Они говорили на особый манер, который Робин неизменно связывала с прислугой и совершенно естественно считала свойственным этому разряду людей — точно так же, как считала естественным мяуканье кошек и лай собак. Подрастая, она поняла, что чаще всего они обсуждали то, чего не хотели бы говорить при ней.

Она любила наблюдать за воробьями в саду, потому что вообще любила смотреть на воробьёв. Это были единственные друзья, каких она когда-либо знала, хотя она была ещё слишком мала, чтобы называть их друзьями или понимать, что значит дружба. Эндрюс при помощи собственной системы воспитания приучила её не плакать и не издавать ни звука протеста, когда её оставляли одну в маленькой, некрасивой детской. В представление Эндрюс об обязанностях няни вовсе не входило умирать со скуки в комнате под самой крышей, когда внизу, в полуподвале, её ждали куда более занятные развлечения: кухарка, женщина с богатым жизненным опытом, горничная, успевшая послужить в весёлых загородных домах, и лакей — молодой человек с живым нравом и чувством юмора. Так что Робин проводила в полном одиночестве немало часов в день, если сложить их вместе. Возможно, она сильнее возмущалась бы своим затворничеством, если бы когда-нибудь знала другую жизнь.

А за воробьями и впрямь стоит наблюдать, если живёшь в детской, где никогда ничего не происходит, а окна находятся так высоко, что людей внизу почти не разглядеть; к тому же кажется, будто дождь идёт чуть ли не всегда. Робин смотрела, как птицы скачут по шиферным крышам домов на противоположной стороне улицы. Они хлопали крылышками, подбирали соломинки и куда-то уносили их. Девочке казалось, что у воробьёв, должно быть, есть собственные домики среди труб, там, куда ей не видно. Как хорошо было бы самой прыгать по крыше, думала она, если бы только не бояться упасть! Ей нравилось воробьиное чириканье и щебетание: они напоминали разговоры и смех — те самые разговоры и смех, от которых она иногда просыпалась ночью и лежала, прислушиваясь, когда Дама Внизу устраивала приём. Робин часто гадала, о чём говорят эти люди.

Иногда, когда дождь шёл два или три дня подряд, на неё находило такое чувство, что она начинала плакать про себя, но никогда — вслух. Однажды целую неделю на её руке держался маленький сине-чёрный синяк: Эндрюс ущипнула её за то, что она заплакала достаточно громко, чтобы её могли услышать. Робин показалось, будто няня целых пять минут выкручивала и щипала ей кожу, не отпуская, а другой, большой рукой всё это время зажимала ей рот.

— Вот и запомни это хорошенько, — сказала Эндрюс, закончив, когда Робин едва не задохнулась от страшных усилий не издать ни звука.

Эндрюс была совершенно уверена в одном: никто не поднимется в детскую выяснять причину плача, если только крики не окажутся настолько нечеловеческими, что потревожат весь дом. Поэтому ей было нетрудно устроить жизнь своей воспитанницы так, как удобнее всего ей самой.

— Главное — кормить её как следует да не позволять поднимать глупый шум, когда ей чего-нибудь хочется, а она этого не получает, — говорила Эндрюс своим приятелям внизу. — Та, что сидит в гостиной, в детскую вмешиваться не станет. Уж она-то — ни за что! Я своё дело знаю и знаю, как обращаться с такими особами. Время от времени я вежливо являюсь к ней и спрашиваю разрешения купить что-нибудь у Беста, у Либерти или ещё в каком-нибудь хорошем магазине. Она сперва смотрит на меня целую минуту, будто едва понимает, о чём я толкую, а потом говорит: «Ах да, полагаю, ей это необходимо». Ну, я и покупаю. Одеваю девочку не хуже любого ребёнка в Мейфэре. А с годовалого возраста она настоящая красавица, так что, когда я катаю её по улице, выглядит она превосходно: все видят, что за ней хорошо

ухаживают и что её не прячут от людей. К её виду никто не придерётся, и никому она не мешает. Вот и всё, что требуется.

— Много ли теперь хлопот людям от заповедей! — заметил лакей Дженнингс, слывший острословом. — Могу назвать одну, которую столько раз нарушали, что от неё и осколков не осталось. Разбей я эту тарелку в порошок, пришлось бы сметать его в мусорное ведро. Вот что случилось с некоторыми заповедями, и не с одной.

— Ну, — заметила кухарка миссис Блейн, — она в наши дела не лезет, а он счета оплачивает исправно. Помните, это лучше всяких заповедей. Хотите верьте, хотите нет, а моя мать рассказывала, что во времена королевы Виктории хозяйки спрашивали, сколько осталось холодного мяса и куда делся жир от жаркого. Цивилизация с тех пор далеко ушла вперёд — с заповедями или без них.

— А насчёт своевременной оплаты счетов он ужасно строг, — сообщил Дженнингс с видом человека, хорошо знающего свет. — Я однажды слышал, как он её отчитывал из-за неоплаченных счетов. Она истратила деньги на какую-то ерунду, а он разговаривал с ней весьма сурово, по своей странной манере. И совершенно правильно, скажу я вам. Я бы на его месте поступил точно так же. — Он подтянул воротничок и вытянул шею, изображая человека, которому в точности известны естественные чувства маркиза, справедливо выведенного из терпения. — Он дал ей понять: если деньги, предназначенные на оплату этих счетов, не пойдут по назначению, в следующий раз средств не предоставят. — Дженнингсу понравилось слово «предоставят», и он повторил его с особенным нажимом: — Именно: не предоставят.

— Это её напугает, — коротко заключила Эндрюс.

— Ещё как напугало! — подтвердил Дженнингс. — Она бы в истерику впала, если бы он её не осадил. У Кумба есть своя манера обращаться с людьми.

Эндрюс коротко, сухо рассмеялась.

— Знаете, как девочка её называет? — спросила она. — Дама Снизу. Она по-своему к ней привязана и всё старается хоть одним глазком на неё взглянуть, когда мы выходим. Я заметила: стоит нам пройти мимо комнаты, где та может находиться, как малышка вытягивает шею. Всё из-за красивых платьев и смеха. Детей привлекают яркие цвета и весёлые звуки.

— По-моему, ребёнок даже не знает, что это её мать! — сказала миссис Блейн, открывая духовку, чтобы взглянуть на булочки.

— А я думаю, если бы я сказала ей, что это её мать, она и слова такого не поняла бы. Это от меня она услышала про Даму Снизу, — продолжала Эндрюс, всё ещё посмеиваясь. — Бывало, говорю: «Дама Снизу услышит, если будешь шуметь». Или обещаю позволить ей взглянуть на Даму Снизу, если будет очень послушной. Я видела, что малышка немного робеет перед ней, хотя та ей ужасно нравится. Вот и нашёлся удобный способ держать её в руках. Можете не верить, но долгое время я даже не догадывалась, что она понятия не имеет о существовании матерей. А когда поняла, то решила, что объяснять бесполезно. Она бы всё равно не разобралась.

— Да и как вы собирались бы объяснить ребёнку, что такое мать? — заметил Дженнингс. — Я бы сказал, что это человек, который имеет право отвесить тебе затрещину, если ты его не слушаешься.

— А я сказала бы, что это женщина, которая заставляет тебя по пятнадцать часов в день надрываться на кухне, словно судомойку, — отозвалась миссис Блейн. — Моя мать служила кухаркой в большом доме и сама обучала меня своему ремеслу.

— А у меня матери вовсе не было, — сухо заявила Эндрюс. В действительности ей пришлось растить восьмерых младших братьев и сестёр, пока их родительница, если не ссорилась со своими детьми, спала тяжёлым храпящим сном после выпитого пива.

Горничная Джейн провела детство в деревне, и жизнь её была не так уж тяжела. Возможно, от природы она отличалась мягким сердцем.

— Я бы сказала, что мать — это та, кому ты принадлежишь и кто тебя любит, даже если иногда и заставляет слушаться, — вмешалась она.

— Её мать её не любит, да и сама вести себя не умеет, — возразил Дженнингс. — Значит, такое объяснение не годится.

— И по голове она её не бьёт, и кухонной работе не учит, — добавила миссис Блейн. — Так что ни ваше объяснение, мистер Дженнингс, ни моё не подходят. Мисс Эндрюс придётся самой что-нибудь придумать, когда без объяснения уже не обойтись.

— Пусть позаимствует слова из мелодрамы театра на Друри-лейн, — с большим остроумием предложил Дженнингс. — Придётся вам однажды вечером усадить девочку перед собой, мисс Эндрюс, и произнести: «Настал час, дитя моё, когда я должна открыть тебе Всю Правду».

Так внизу, среди прислуги, обсуждали миссис Гарет-Лоулесс и её материнские чувства. Между тем примечательным оставалось одно обстоятельство: для Робин Дама Снизу была всего лишь сияющим, прекрасным существом, которое порхало по некоторым комнатам, смеялось или щебетало, словно птица, и всегда носило красивые платья — каждый раз новые. Иногда её удавалось увидеть в дверном проёме. А если в нужную минуту прижаться лицом к оконному стеклу, можно было заметить, как она садится в свою нарядную маленькую карету на улице. Дженнингс захлопывал дверцу, и Дама Снизу изящным движением расправляла платье, устраиваясь среди подушек густого тёмно-синего цвета.

Есть нечто почти грозное в мысли о том, что новорождённое человеческое существо может знать лишь то, чему его научат. Учение это бывает сознательным или невольным, разумным или нелепым, прекрасным или жестоким. Образы, которые день за днём открываются пробуждающемуся восприятию ребёнка благодаря окружающим людям, запечатлеваются в его душе, в мозгу, в самом теле — единственном средстве, посредством которого в земной жизни он может выразить всё усвоенное. То, что с первыми проблесками сознания само собой становится Законом, остаётся для него Законом Бытия, Законом Вселенной. Человеку, осторожному в вопросах ответственности, это порой представляется чем-то устрашающим и, пусть даже отдалённо, наводит на мысль, что, быть может, следовало бы, образно говоря, снять обувь и ступать осмотрительно, бережно выбирая каждый шаг, как поступают почтительные люди, приближаясь даже к незнакомому алтарю.

Если признать эту истину и научной, и духовной, не останется ничего загадочного в том, что шестилетняя Робин, наблюдая за воробьями в саду сквера, не знала названия чувству, которое постепенно росло в ней благодаря случайным встречам с Дамой Снизу. Это чувство заставляло её жадно искать встречи с ней или хотя бы с чем-нибудь, что ей принадлежало; напрягать детский слух, стараясь уловить её голос; мечтать, чтобы Эндрюс или другие слуги заговорили о ней, и в то же время робеть настолько, что она не смела задать ни единого вопроса. На лестнице, ведущей в детскую, Робин отыскала место, откуда, прижавшись к перилам, можно было иногда увидеть, как Дама входит в свою розовую спальню или выходит из неё. Девочка сидела на ступеньке и заглядывала между балясинами, а сердце её колотилось. Иногда, когда её уже укладывали спать, а Эндрюс благополучно развлекалась внизу, Робин просыпалась от звуков из нижней комнаты, выбиралась из постели и кралась к заветной ступеньке. Там, замирая от восторга, она видела Даму: в волосах и на прекрасной, почти совсем обнажённой белой шее сверкали драгоценности, сияли украшения на руках, а воздушные ткани всевозможных оттенков превращали её в видение света и цвета. Дама была столь ослепительна, что ребёнок порой судорожно втягивал воздух, словно всхлипывая от счастья; губы дрожали, будто она вот-вот заплачет. Но Робин не знала, что испытывает тоску по тому, что называется любовью, — самому простому, естественному, обыкновенному чувству, о котором ей неоткуда было узнать на собственном опыте. Не зная, что такое мать, она не знала и что такое нежность: Эндрюс сочла бы излишней сентиментальностью говорить с ней об этом.

В те чрезвычайно редкие минуты, когда Дама Снизу появлялась на пороге дневной детской, Робин — неизменно только что переодетая в одно из своих лучших платьиц — стояла, глядя на неё огромными изумлёнными глазами, и шёпотом отвечала на самые обыденные вопросы. Дама показывалась так редко и задерживалась на пороге, точно яркая тропическая птица, так ненадолго, что девочка успевала лишь задохнуться от волнения и уставиться на внезапное видение. Зачем Дама приходила, когда всё-таки приходила, Робин не понимала. Было очевидно, что ей не место в маленьких унылых детских, которые год от года ветшали и становились всё грязнее под неустанным натиском лондонской копоти и туманов.

Приходя, Пёрышко всегда приподнимала подол платья. Она вовсе не заходила бы сюда, если бы её раза два не спросили, хорошеет ли девочка; признаться же, что она совсем не видит собственного ребёнка, казалось бы нелепым.

— По-моему, она довольно хорошенькая, — говорила Пёрышко внизу. — Кругленькая, румянец яркий — даже чересчур яркий, и глаза тоже круглые. Либо она немного глуповата, либо застенчива, а одно другого не лучше. Вечно стоит и таращится.

Если бы во время прогулок с Эндрюс Робин играла с другими детьми, она, несомненно, узнала бы кое-что о существовании матерей и об их обычном отношении к детям просто из случайных разговоров. Но так уж вышло, что она никогда не сближалась с воспитанниками других нянь. Долгое время девочка принимала это как следствие какого-то таинственного правила, установленного Эндрюс. Та и сама, казалось, не стремилась к знакомствам. Иногда она садилась на скамейку и немного разговаривала с другой няней, но редко дважды беседовала с одним и тем же человеком. Чаще она сидела одна, вязала крючком или шила, придавая себе высокомерный и недоступный вид, а заметив, что Робин потихоньку подбирается к какому-нибудь ребёнку, немедленно подзывала её обратно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.